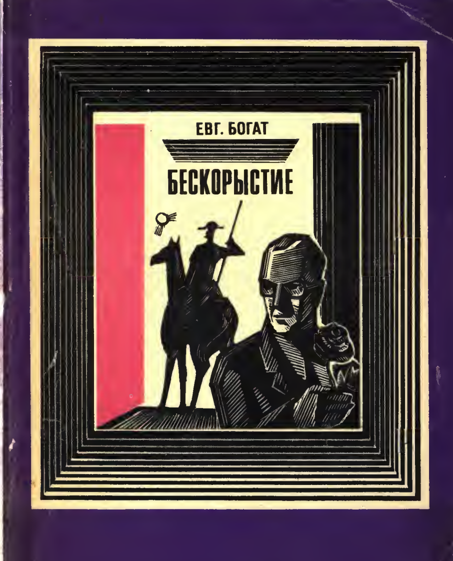

ЕВГ. БОГАТ
БЕСКОРЫСТИЕ

ЕВГ. БОГАТ

БЕСКОРЫСТИЕ



ИЗДАТЕЛЬСТВО
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА · 1972

32С5
Б73

Оформление художника
Кирилла Соколова

Богат Е. М.
Б73 Бескорыстие. М:, Политиздат, 1972.

73 с. с ил.

Слесарь-лекальщик создает уникальный хирургический инструмент для операций на сердце, краевед находит потерянные полотна великих художников, старый лесовод выращивает высоко в горах чудо-парк. В чем же источник их творческой и нравственной силы? На этот вопрос и отвечает книга «Бескорыстие». Она исследует духовный мир современника, содержит раздумья о глубине революционных и нравственных традиций нашего народа.

1—5—4
346—72

32С5



Пролог

О чудаках и рационалнстах



Начинающий литератор, рабкор, написал мне, что он захотел рассказать в многотиражке об одном «бессребренике-столяре», который весь отпуск мастерил для детского сада разные замечательные вещи: качели, беседки, карусель, а от денег за эту работу отказался. Редактор многотиражки к замыслу рабкора отнесся более чем холодно. Он поморщился: «Опять эти чудаки!» И посоветовал рабкору: «Ты лучше расскажи о людях, которые теперь стали больше получать и поэтому работают еще лучше, о людях от мира сего: уважают труд — и рубль уважают. А то нас с тобой не поймут...»

«Я и сам глубоко уважаю честно заработанный рубль,— пишет рабкор.— И рад, поверьте, что этому

рублю стали оказывать больше почета. Хороший заработок — хорошее настроение и на работе, и дома. Но многое в жизни не измеришь рублем...

Мне, конечно, и без вашего ответа ясно, что редактор нашей многотиражки не видит дальше собственного носа. Его заблуждение можете не объяснять в ответном письме. Но вот почему писатели и журналисты сегодня рассказывают редко о бескорыстии, о бессребрениках...

Меньше их стало на нашей земле? Судя по моим наблюдениям,— нет, ничуть не меньше...»

Мои наблюдения говорят о том же. Я в жизни видел много бессребреников: они строят телескопы для народных обсерваторий, ищут потерянные полотна больших художников, чтобы передать их государству, посылают черенки выведенных ими новых сортов растений во все концы мира... Называя их чудаками, то есть людьми странными, даже порой смешными, мы, как казалось мне, лишь отдаем дань традиционному, уже утратившему живую актуальность смыслу слова, сложившемуся давным-давно, в ином мире.

В сегодняшних «чудаках-бессребрениках» сосредоточилось, как в чудесной линзе, самое лучшее, высокое, цельное, что есть в нашем социальном строе и в нашем народном характере. Им не чужды порой милые странности, но то, что делают они — по нравственной сути,— настолько естественно для человека социалистического общества, что слова «чудак», «чудачество» все отчетливее воспринимались мной как безнадежные архаизмы...

Но вот редактор, о котором написал мне рабкор, трактует «чудака» точно так же, как трактовал его В. Даль почти сто лет назад: человек, делающий все «вопреки общего мненья и обыка».

И я подумал, перечитывая письмо рабкора, что, подобно истинной любви, бескорыстие находит высшую радость в самом себе и не нужны ему, конечно, ни на-

грады, ни похвалы, ни очерки — на то оно и бескорыстие! — но желательна для него особая общественная атмосфера, насыщенная уважением к бескорыстию, желателен особый воздух, что ли... Если и не будет его, бескорыстие, конечно, не умрет — не оранжерейная орхидея,— но ведь и самым сильным, жизнеспособным растениям нужен минимум солнца. И если на заводе, где редактирует многотиражку человек, непреклонно убежденный в том, что теперь надо писать очерки только о людях, которые «уважают труд — и рубль уважают», уйдет из общественной атмосферы та самая «капля солнца», это таит в себе опасность несравненно более серьезную, чем уменьшение числа очерков о бессребрениках...

В чем же она, эта опасность?

— Вы, конечно, имеете в виду воспитание жестоких рационалистов! — воскликнул нетерпеливо один молодой социолог, занимающийся сейчас экономикой, когда я показал ему письмо рабкора и поделился моими опасениями.— Не бойтесь, сегодня рационалист именно та фигура, которая наиболее результативна, редактор многотиражки ощутил это точно,— видимо, не дурак. Поверьте мне: лучше воспитать сто, даже тысячу рационалистов, чем не решить важной экономической задачи. Завод, с которого вам написали, может быть, и не украсит мир чудаками, но дело будет делать хорошо. А материальные ценности, они тоже украшают жизнь...

— А вам не кажется,— возразил я,— что на соседнем заводе эти же самые материальные ценности будут созданы менее дорогой ценой? Без «или — или»?

— Будем откровенны,— нахмурился он.— Я не верю в существование этого самого «соседнего завода», и вообще забудем о вашем письме. Поговорим по существу. Что хуже: не досчитать в следующем поколении нескольких бессребреников, о которых вдохновенно пишут

наши очеркисты, или... — он выразительно, по-купечески показал пальцами, чего можно не досчитать.

— Опять «или»! — возмутился я. И тут, сознаюсь, тоже ощутил себя во власти определенной «полемической направленности», которая делает человеческое восприятие и мышление несколько односторонними.

— Хуже не досчитать бессребреников! — ответил я ему.

Мой собеседник рассмеялся.

— Нравственные потери,— уточнил я,— не менее серьезны, чем экономические. А может, и серьезнее их.

— Поймите,— опять нахмурился он,— диалектику жизни. В следующем поколении будет, возможно, меньше бессребреников, для того чтобы через одно поколение их было в десять, в тысячу раз больше, чем теперь.

— А вы уверены,— возразил я ему,— что завтра, когда рационалисты уже будут не нужны, удастся их перевоспитать? Вам в жизни удалось перевоспитать хотя бы одного рационалиста?

— А зачем их перевоспитывать? — опять рассмеялся он.— Пусть себе живут, как жили!

— И вы убеждены искренне, что они, живя как жили, дадут вырасти миллионам бессребреников?

— Я вижу, что для вас послезавтрашние бессребреники важнее сегодняшних насущных потребностей общества! — вдруг рассердился он совсем нелогично.

— О нет,— ответил я ему,— вы, видимо по молодости лет, поверхностно и односторонне понимаете потребности общества: они многообразнее и шире. Это и материальные, и духовные, и нравственные блага...

Потом уже, восстанавливая по памяти эту беседу, я понял, что и самый первый аргумент моего оппонента был ошибочным. Не боюсь я жестоких рационалистов! Эти рационалисты «в чистом виде» не более распространены в жизни, чем «идеальные чудаки». А подавля-

ющее большинство наших современников — не чудаки и не рационалисты, а самые «обыкновенные» люди, которые любят и работать, и зарабатывать, хорошо понимают, что поговорку «не в деньгах счастье» сочинили те, у кого денег было достаточно, и в то же время не хотят жить только ради денег. Они не классические бессребреники и не стяжатели. Они не удивят вас «высокими чудачествами», о которых я, может быть, раньше времени стал думать, что это вовсе не «чудачества», а общечеловеческая норма. И в то же время они любят жизнь и хотят, чтобы в повседневную работу было вовлечено лучшее, что есть у них за душой. Словом, повторяю: «обыкновенные» люди не чудаки и не рационалисты.

И вот в том-то и дело, что им, этим людям, лучше работается и живется в общественной атмосфере, благоприятствующей чудакам-бессребреникам, а не рационалистам.

Тут мне хочется напомнить читателю точные формулы К. Маркса: «голая *полезность*» и «*человеческая* польза». Если попытаться их расшифровать, то в первом случае перед нами только работник, во втором — человек. Вопрос заключается в том, может ли человек — даже и «от мира сего» — действительно хорошо работать, если в нем видят только работника? Нужны ли труду — любому — только ум и руки человека или весь его внутренний мир: его сложность, его глубина, увлечения, даже его странности?

Когда на земле исчезли мамонты — это вызвало необратимые, неразгаданные, может быть, до сих пор изменения в биосфере нашей планеты. Даже исчезновение редкого вида бабочек, наверное, не столь безобидно, как кажется. В этической сфере тоже есть, несомненно, непреложные равновесия и точные взаимосвязи. И если (конечно, ситуация фантастическая) на том заводе, где

редактирует многотиражку человек, начисто неприемлющий чудаков-бессребреников, они исчезнут при его содействии, незавидной будет и участь нечудаков, небессребреников. Сомневаюсь, чтобы и дело-то завод этот делал действительно хорошо, как обещал социолог-экономист. Чтобы дело делалось хорошо, в него должна быть полностью вовлечена человеческая сущность работающих. Так называемые нравственные ценности «сто́ят» в экономическом выражении несравненно больше, чем иногда полагают. Утилитарное отношение к человеку не только безнравственно, но и малорезультативно. А точнее, потому и малорезультативно, что безнравственно.

Обыкновенно рассматривают бескорыстие как совершенно определенное действие. Мир этих явственно высоких действий разнообразен, как сама жизнь... Сейчас же хочется мне вывести разговор из сферы поступков и рассмотреть бескорыстие как душевное движение. Что внутренне руководило столяром, о котором написал нам рабкор? Если отвлечься от возможных конкретных мотивов, обусловленных неизвестными мне особенностями его характера и судьбы, то самым общим и самым важным ответом будет: желание пережить чужую радость, пережить ее, как собственную. Я думаю, что нет желания, которое бы в большей мере формировало человека как духовно и нравственно цельную личность, чем это. Талант сопереживания чужой радости, как собственной, заключен, несомненно, в каждом из нас: у одних он развит высоко, у других недостаточно или не развит вовсе. И чем больше общественная атмосфера — атмосфера человечности, уважения к личности, к ее самоценным достоинствам — активизирует этот дар, тем лучше для нас всех.

Истинное бескорыстие состоит в том, что человек служит народу и человечеству, не жертвуя личным. Не

аскетизм это, не томительное бессребреничество, а радость от ощущения полноты собственного Я. Один из наивысших коммунистических идеалов — человек, интегрирующий в себе человечество: чем больше вбираем мы в себя из окружающего мира, тем больше и становимся самими собой.

Первоистоки нравственности нового мира, который мы строим,— в этике революционеров. Когда молодой Дзержинский писал из тюрьмы сестре: «Я ... чувствую в себе ... все человечество», он делился с нею духовным богатством, которое питало его неиссякаемой силой в борьбе за лучшее будущее. Это духовное богатство — чувствовать в себе человечество — должно стать (и станет в коммунистическом обществе!) уделом любого человека.

В этике революционеров соотношение «блага человечества» и «собственного совершенствования» занимало особое по действенной силе место. Когда Маркс утверждал: «Надо ... стремиться к тому, чтобы частный интерес отдельного человека совпадал с общечеловеческими интересами», он имел в виду социальные условия, освобождающие личность от уродующих ее сущность частной собственности и отчуждения. И не случайно отличаются бескорыстием жители Города Солнца Кампанеллы и острова Утопии Томаса Мора. Там нет частной собственности.

Это, разумеется, не означает, что в обществе буржуазном — и раньше — не формировались великие натуры, не бились бескорыстные сердца, чувствующие в себе все человечество,— ими были Томас Мор и Кампанелла, Маркс и Ленин. Но они формировались именно в революционной борьбе с этим обществом за торжество такого социального строя, в котором не будет ни частной собственности, ни разделения труда, ни зла отчуждения, когда наступит полная эмансипация всех человеческих

чувств и люди поймут: единственное богатство — абсолютное выявление творческих дарований человека.

Сейчас (да извинят меня читатели за несколько театральную метафору) Пролог уйдет с подмостков и выйдут на них герои нашего повествования, современные люди — рабочие, старые большевики, художники, журналисты, лесники... Я не выдумывал ни их дел, ни их имен. Моя книга — документальна. Наряду с портретами современников будут в ней и размышления,— они вызваны желанием осмыслить характеры и судьбы, о которых я рассказываю.

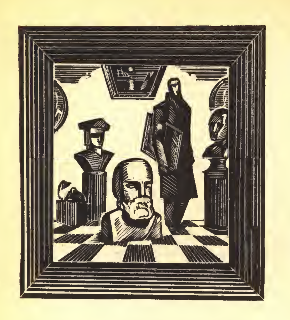
Мне хочется показать в этом повествовании богатейший «спектр» бескорыстия, не только цвета, но и оттенки, исследовать бескорыстие как важнейшее социально-этическое явление нашей действительности.

Итак, сейчас, как говорили в старину, Пролог уйдет... Но не уйдет тема этики революционеров, ибо из этой этики и рождается, повторяю, нравственность нового коммунистического мира.

Думая о великом будущем, не стоит, конечно, отрываться от сегодняшней реальной жизни. В частности, не нужно забывать об одной истине, несколько парадоксально выраженной большим современным ученым: «Человек может быть только хорошим человеком или плохим муравьем. Хорошим муравьем человек быть не может».

Попытки, даже газетно-журнальные, воздействовать на человеческое поведение только с помощью арифметики, рационалистически обнаженного расчета несут в себе, по существу, несбыточную мечту «о хороших муравьях».

А вокруг нас — хорошие люди.



Человек не стареет

Не могу я жить без боя
И без бури, в полусне.

Из стихов
юного К. Маркса

По-дачному не рано — начало двенадцатого. За окнами шумит осенний дождь. Слышу: торопливые шаги по ступеням — кто-то быстро входит на веранду.

— Разбудите! Экстренное сообщение...

Узнаю этот голос, зову:

— Заходите же, я не сплю!

И он заходит, точнее, заглядывает. В острой седой старомодной бородке поблескивают дождинки, в мокрой руке — письмо.

— Вот, с юга. Вернулся сию минуту из Москвы, а его еще утром получили...

Беру стопку исписанных листков; он уходит.

«Дорогой Кузьма Авдеевич! Желаю, чтобы и сейчас и в дальнейшем Вы были счастливы и супруга Ваша Анна Владимировна — тоже. Желаю счастья и внучке Вашей и маме ее, Вашей невестке. Сегодня один из самых хороших дней в моей жизни, и я не могу Вам не написать. Думаю о Вас, недавно еще мы были чужими людьми, а сейчас Вы для меня действительно дорогой человек. Сегодня я могу написать о себе: я счастлива, и это благодаря Вам. Теперь я опишу все по порядку...»

Откладываю мокрые, с расплывающимися буквами, листки, выхожу на веранду — вижу за смутно чернеющими соснами желтое размытое пятно окна соседа. Потом — уже мысленно — вижу его комнату. Большой портрет сына на стене — умное, чуть насмешливое лицо тридцатичетырехлетнего человека, которого нет уже в живых: сердце. Книги — мемуары русских революционеров рядом с учебниками внучки. И письма, письма — на столе, на подоконнике...

И раньше ему часто писали, но особенно много пишут с тех пор, как «Известия» рассказали о рождении в Москве «стола добрых дел и советов», основанного старыми большевиками, и о деятельных хлопотах за этим символическим столом персонального пенсионера, члена партии с 1905 года Кузьмы Авдеевича Веселова.

Одно из писем он получил с юга. Молодая женщина рассказывала о том, как трагически, может быть, непоправимо осложнилась ее жизнь. Не могу сейчас изложить эту историю: она, по-моему, не для документаль-

ной литературы. Да и не в истории суть — я пишу о моем соседе на даче.

Положа руку на сердце, будь это письмо адресовано мне, я бы отступил... Он ринулся в бой и вот с помощью товарищей — писателей, общественных деятелей, комсомольских работников — успешно решил не только нравственно, но и юридически сложнейшее дело.

«Сегодня один из самых хороших дней в моей жизни... Думаю о Вас...»

И я, не отрываясь от желтого размытого пятна в осенней ночи, тоже думаю о нем.

Вот уже около двух лет сосед мой и его пятнадцатилетняя внучка переписываются с молодым заключенным пермской тюрьмы, с матерью его, даже с теми, кто был недавно его жертвами. Письма эти я читаю как живую документальную повесть о юноше, который тяжело оступился, но нашел силы стать в тюрьме настоящим человеком: полюбил книги (их посылает ему Веселов), начал изучать английский язык, понимать музыку, поверил в добро и благородство, в будущее.

Я заметил уже: чем сложнее человеческая судьба, которая открывается Веселову на одном из ее «крутых поворотов», тем больший подъем духа рождает в нем сама трудность борьбы за нее. И это не стремление к «высокому сопротивлению материала», свойственное большим художникам и педагогам, а что-то более человечное, простое...

Однажды, по пути с дачи в Москву, вышел он в Лосиноостровской, потому что услышал в поезде, что один человек на этой станции очутился в большой беде. И он нашел, не без труда конечно, этого незнакомого ему человека, но тот из гордости или по замкнутости характера, из нежелания «раскрыться», от помощи отказался. Кузьма Авдеевич, перед тем как уйти, написал на листке: «Поселок «Заветы Ильича», улица Коминтерна,

дача № 117, Веселов».— Мало ли что может случиться! Сохраните...

Через несколько дней постучалась к нему с этим листком пожилая женщина, нужен был ей умный, добрый совет.

Засыпая, улыбаюсь: «Разбудите! Экстренное сообщение...» А что? Ведь и в самом деле это экстренное сообщение, если еще один человек на земле счастлив. И ради него стоит будить ночью соседей.

Большой современный писатель мечтал о той высшей степени лаконизма, когда сложную человеческую жизнь можно «втиснуть» в один абзац.

Мне хотелось бы сжать до нескольких строк биографию моего героя, и не только потому, что в очерке это обыкновенно самый унылый раздел,— сжать, чтобы лучше понять, чтобы отчетливее выступило то «вяжущее», что делает большую жизнь цельной.

Самое удивительное в его биографии заключается, я думаю, в ее емкости, почти неправдоподобной; одна человеческая жизнь вбирает колоссальную эпоху в истории человечества — больше, чем это «удавалось» раньше нескольким поколениям. От конок до космических кораблей. От бомб народовольцев до освободительных пожаров над континентами планеты.

Юношей в начале века начал он работать в тихой питерской типографии,— то, что официально печаталось в ней, стало, пожалуй, не меньшей редкостью, чем кости какого-нибудь диплодока. Листовки он носил тайно солдатам Петропавловки и до 9 января и после, когда М. Горький писал в этой крепости «Детей солнца». А потом он сам писал — не пьесу, пылкие юношеские дневники — тоже в одиночной камере петербургской тюрьмы «Кресты».

После тяжелого сумрака этой камеры — ослепительное солнце Италии. Болонья, партийная школа для русских революционеров. И нешумная улочка в нефешенебельном районе Парижа. Ленин. Чай разливала Надежда Константиновна. «На рижские заводы поедете?» — сощурился Ильич.— «Если надо...» — «Работа рискованная».— «Волков бояться...»

Суд — Нарым. К счастью, его пальцы не забыли ремесла подмастерья-переплетчика. В тома Тургенева и Достоевского он искусно зашивал фальшивые паспорта — для беглецов.

Все это стало уже экспонатами, темами экспозиций Нарымского историко-революционного музея. Под толстым стеклом в музеях лежат и листовки, написанные им в Сибири после Октября: о хлебе для Питера и Москвы. Он был уполномоченным военно-продовольственного бюро — и слова эти уже стали архивными, музейными! Человек, к счастью, стареет медленнее слов...

Удивительны подмосковные осени — лист долго плавится, тепло желтеет и не падает долго, солнечный, легкий, без сухости и оттенков старой жести. Небо белесоголубое, и тени на желтой траве по-летнему отчетливы, густы.

По лесу идет мой сосед. И я опять удивляюсь: до чего же не похож на старика — порывист, юношески легконог, весел. И эта милая, умная лукавинка в лице — она тоже его молодит. Нет в облике его моложавости, игры в молодость, а что-то большое, глубинное, от этой пушкински благодатной осени.

Идет быстро, чуть склонив голову набок, сосредоточенной походкой делового человека.

— Куда вы?

Машет рукой.

— На плотину! Посмотреть...

Плотина эта — дело рук (именно рук!) старых большевиков «Заветов Ильича». Они решили построить ее на обмелевшей Серебрянке, образовать хороший водоем для детей и внуков. Молодежь поселка поначалу относилась к их работе, физически достаточно тяжелой, иронически-доброжелательно, но потом и она загорелась, дело пошло. Сильный дождь разрушил плотину — сейчас ее восстанавливают. (До войны мой сосед строил заводы, аэродромы, города.)

Через час он возвращается с реки.

— Посмотрел,— говорит,— все хорошо...— И чуть отойдя, помрачнев: — Сегодня газет не читали? Я вам дам. Важные вести из Алабамы. Расисты бесчинствуют...— А через несколько шагов, с энергичным поворотом головы: — Да! Любопытный случай. Получил письмо от человека, с которым не виделся лет пятьдесят. Больше, пожалуй... Из той же деревни под Тверью, что и я. Девушкой ее помню, невестой. И вот письмо. Несчастная, одинокая старуха. И ведь не забыла... И я помню, пела она хорошо. Ну, вечером увидимся? То, что вас интересовало, сейчас у меня на даче...

Он уходит, а я думаю: это не шутка, если пятьдесят лет — полвека! — кто-то помнит о тебе, пишет в тяжкую минуту.

Он видит ее девушкой, невестой, певуньей. А она его? Мальчиком-пастушонком? Юным, веселым, немного восторженным и щеголеватым рабочим из питерской типографии? Умным молодым революционером с тюремной желтизной в лице вместо деревенского румянца?

Я не знаком с ним и пяти лет, а мне и то иногда кажется, что вижу в нем мальчика, юношу, революционера начала века. Что помогло ему сохранить их в себе? Устоять в бурном потоке времени, который старит порой и молодых? Не одряхлеть под ударами судьбы?

И тут память подсказывает мне, что писал К. Маркс в одной из ранних работ. Точнейшими штрихами рисует он черты человека коммунистического общества. «...Чувства и наслаждения других людей,— говорит этот человек,— стали моим *собственным* достоянием».

Слова эти, как озарение,— стоит над ними помедлить. Речь идет о возможности неслыханного нравственного богатства. То, что было раньше уделом избранных — больших писателей, композиторов, ученых,— будет общечеловеческой нормой.

Почему будет? Вот Веселов, мой сосед, старый большевик. Разве чувства и наслаждения других людей не стали уже сегодня его собственным достоянием?

Стали — в этом и тайна его нестарения.

Вечером мы читаем его тюремные дневники. В комнате, освещенной косо настольной лампой в углу, с тлеющим от лунного неба окном, он кажется старше, старее...

Дневники эти он вел в девятьсот седьмом в петербургских «Крестах»; торопливые карандашные записи в унылых казенных тетрадях — сейчас Веселов и сам разбирает их не без труда. Читает он с искренним интересом, в котором слышится капля наивного удивления: это я?

И поясняет:

— Единственное, что могло порадовать меня в тюрьме,— библиотека. Был я не особенно начитан и потянулся к Пушкину, Белинскому... Старшие товарищи советовали начать с них. И поначалу в «Крестах» не оказалось первых томов Пушкина со стихами, последние были тома — письма, отрывки... Ну, я и стал читать. Потом уже раздобыл стихи и, видите, записал.— И, посмеиваясь, смущенно: — «Начинаю все больше любить поэзию и чувствовать ее обаяние. Читаю стихи, и вдруг явится какое-то светлое и радостное чувство, так что

сердце начинает биться. Даже от иного стихотворения могу заплакать». Вот вам...

А это что? «Трепещите, тираны, когда поднимутся наши руки, их миллионы». А! Видимо, образец моего собственного литературного стиля тех лет...— И строже: — Странно, прозу Пушкина запомнил я лучше, ярче, что ли, стихов, может быть, потому, что читал их со слезами. В одном из писем Пушкин писал: говорят, что несчастье хорошая школа, что ж, если несчастье — школа, то счастье — лучший университет.— И улыбнулся печально, мудро, как улыбаются иногда старики.

Молчим. Я рассматриваю — теперь уже не мысленно — его комнату. Книги и письма на столе и подоконнике, большой портрет сына...

— Да,— он оживляется,— вы давно хотели увидеть фотографию той женщины с юга. Вот...

Милое женское лицо. Сейчас, в эту минуту, оно, может быть, смеется, как не смеялось давно.

Он повторяет, закрывая тюремную тетрадь:

— Лучший университет... Под этими словами могли бы подписаться все русские революционеры!..— И порывисто выходит из-за стола.— Ну, мне пора!

— Куда? — удивляюсь.— Ночь почти...

— Надо идти,— отвечает убежденно.— Получил, видите ли, повестку. Вот на столе...

Читаю: поселковый Совет извещает арендатора дачи К. А. Веселова, что его очередь дежурить по охране общественного порядка в поселке такого-то числа, в воскресенье, с 9 вечера до 12 ночи.

Известно ли в поселковом Совете, думаю, что «арендатору Веселову»... семьдесят седьмой! И говорю:

— Это какое-то недоразумение...

— Почему недоразумение? — возражает он.— Написано: Веселову.— И смеется: — Веселов — это я.

Выходим на веранду, он надевает пальто.

— Послушайте,— настаиваю я,— это нелепо!

— Но почему? — пожимает он плечами.— Вот вы неделю работали, сегодня воскресенье, должны раньше лечь, отдохнуть хорошо. Да, да! А я на пенсии. Сил и времени много.

И быстрым изящным жестом пожав мою руку, выбегает в сад. А у меня мелькает в памяти, что осенью сорок первого он ушел в ополчение, став одним из самых старых солдат народной армии.

Минуту, пока решаю бежать за ним, вижу, как он уходит — немного торопливой и легкой походкой, освещаемый не по-осеннему яркой, почти слепящей луной, под органный гул исполинских сосен.

А ночью под шум этих сосен я думаю — думаю о тюремных дневниках, которые мы с ним читали и сопоставляю невольно отдельные их строки с письмами из тюрьмы великого революционера Феликса Эдмундовича Дзержинского. Дух эпохи, дух поколения выражен в них на редкость точно.

«Я уверенно могу сказать, что я гораздо счастливее тех, кто на «воле» ведет бессмысленную жизнь... Поэтому, хотя я и в тюрьме, но не унываю... Тюрьма страшна лишь для тех, кто слаб духом...» Это — молодой (ему двадцать один год) Феликс Дзержинский. Почти то же самое писал и молодой революционер Кузьма Веселов. И для него тюрьма была лучше «бессмысленной жизни». А она действительно бессмысленна, если нет великой цели и великой борьбы. Общеизвестно, что ответил Маркс на один из «вечных» вопросов: счастье — БОРЬБА. Во имя человечества и во имя человека. Думая о мире, Маркс никогда не забывал о личности. А думая о личности, видел перед собой мир.

«Человек только тогда может сочувствовать общест-

венному несчастью, если он сочувствует какому-либо конкретному несчастью каждого отдельного человека...» Это тоже Дзержинский. Но это же — и Веселов. И не только Веселов тех лет, но и сегодняшний, переживающий горько и бесчинства расистов в Алабаме, и разломанную судьбу женщины с соседнего полустанка.

Волнующая это вещь — ощутить великую революционную этику, давшую миру бессмертных героев, в поведении «обыкновенного старика», соседа по даче, который пишет бесконечные письма, дежурит по охране общественного порядка, заботится о водоеме для детей, куда-то постоянно торопится. И вот за этим-то будничным, повседневным вырисовываются исполинские силуэты, и ты ощущаешь живое родство эпох.

В однообразном течении дней, в утомительном мелькании одного и того же, в повторяющихся мелочах часто утрачивается ощущение величия жизни, начинаешь видеть ее не объемно, в волнующей непрерывности, а в совершенно искусственном механическом делении на «обыкновенное сегодня» и «легендарное позавчера». В «обыкновенном сегодня» живет ничем будто бы не замечательный человек — сослуживец, попутчик, сосед по даче... а в «легендарном позавчера» жили Сократ, Томас Мор, Кампанелла, герои и мученики! И та минута, когда в «обыкновеннейшем» современнике узнаешь черты легендарного героя, дает урок мудрости — начинаешь лучше понимать человека и жизнь, возвращается утраченная цельность видения. Она обогащает вдвойне: сегодняшнюю реальнейшую личность воспринимаешь как легендарное существо, а Томаса Мора и Кампанеллу, как сегодняшних реальных людей.

Революция подобна Гераклитову огню — он никогда не потухает.

Человек не стареет...

В ту обыкновенную «дачную» ночь, под органный

гул сосен, я лучше понял и людей, о которых писал, и тех, кто этих людей дарил мне с бескорыстием и верой в меня. (Последнюю строку неписатели и нежурналисты могут и не понять, поэтому, видимо, стоит объяснить как можно более кратко, что в нашем деле наивысшая щедрость — «подарок» сюжета, человека, судьбы, когда дарящий отдает бесценное, о чем мог бы и сам написать, тому, кто, как ему кажется, напишет лучше. Классическая модель подобных отношений, бесконечно, что само собой разумеется, отличающихся по масштабу от того, о чем я буду рассказывать дальше: Пушкин — Гоголь.)

В ту ночь думал я о человеке, который был читателям известен как Ин. Андреев, автор умных, добрых книг и точно, мастерски написанных очерков о хороших людях, для меня же был Женей Кюном. Это подлинное его имя появилось в печати один-единственный раз, когда он умер, упав на улице с остановившимся сердцем. Он умер, как и жил,— ОСИЛИВАЯ дорогу. Вот тогда-то появилось имя его в черной рамке, немного странное для человека, родившегося в вологодской деревне: Кюн.

Я буду дальше называть его Кюном, это чуточку архаичное и литературное Ин. Андреев не совпадает с ощущением его — живого, одаряющего меня мыслями, сочувствием, душевным теплом. Он одаряет меня и потому, что его книги «Синий час» и «Зеленая ветка» стоят на моей полке, и потому что сам он, как личность, живет во мне и не умрет, покýда я буду дышать.

Синий час — час вечера, когда кристаллизуются дневные впечатления, час зрелых раздумий, это не час суток — час жизни. (Женя Кюн и переживал сам этот час, когда я, более молодой и менее искушенный в литературе, познакомился с ним; было это в редакции московской областной газеты четырнадцать лет назад, и в

первую же минуту, не успев, видимо, даже понять хорошенько, что за человек перед ним, он начал меня одаривать — иначе не мог, не умел общаться с людьми. Он, помню, тогда подарил мне эпиграф к очерку, который я собирался написать о послевоенной судьбе солдат. «Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд»,— повторил он дважды, напевно, с великой серьезностью строки А. Твардовского.)

Один из героев «Синего часа» говорит: «Спасенная жизнь стоит хорошо написанной книги». Я думаю, что это заветнейшая мысль самого Кюна. Он никогда не забывал, что есть в журналистской работе две основополагающие вещи, которые выше самых великолепных «творческих находок». Это — ОТКРЫТЬ человека и ЗАЩИТИТЬ человека. Однажды,— он работал тогда в железнодорожной газете,— Женя получил долгожданную командировку на юг — в овеянный романтикой город. В поезде он случайно узнал, что на маленькой станции, которую они через час минуют, не останавливаясь, у стрелочника Киселева большое несчастье. Когда он дежурил, загорелся его дом — в полуверсте. Человек видел, горит, но не побежал, остался верен долгу — шли поезда. Жена его тоже была в тот час на работе. И вот уже несколько месяцев они бедствуют без крова.

Кюн сошел на этой станции (убедил начальника поезда, и тот распорядился: затормозить состав), нашел Киселева, выяснил обстоятельства дела и передал по селектору двадцать строк в газету.

Стрелочнику объявили благодарность и выдали солидную сумму — на постройку дома. Его послали учиться, и он стал потом начальником станции.

Кюн не написал большой вещи, ради которой поехал на юг. Он вернулся в Москву и боролся за действенность тех считанных двадцати строк. Но победа, которую он одержал, стоит литературного успеха. Я имею в виду и

победу над самим собой: это нелегко все же «перестроить» себя в несколько минут, отложить задуманное, сойти поздно вечером на скупо освещенном полустанке. Была эта история до войны, давно, рассказывали мне о ней старые товарищи Жени. Но разве сам я не видел, как он то и дело и *открывал*, и *защищал?!*

Открыл он и Александра Ивановича Смирнова, а открыв, «подарил» мне. «Езжай в Ногинск,— торопил он меня, рассказывая вещи действительно удивительные.— Не пожалеешь!»

Беседовали два краеведа: директор Ногинского музея Александр Иванович Смирнов и персональный пенсионер Дмитрий Иванович Корнеев. Речь шла о поисках и находках.

— А картинная галерея Морозовых как в воду канула,— заметил Корнеев.

— Галерея Морозовых...— повторил Смирнов, поняв собеседника с полуслова.

Почти все Морозовы, известные российские капиталисты, хозяева текстильных фабрик, были коллекционерами. Дом молодых Морозовых в Богородске (так назывался Ногинск до революции) был увешан полотнами русских и западных художников, парадная лестница украшена скульптурами...

Ни Смирнов, ни Корнеев, дети ткачей, не были вхожи в этот великолепный дом дальше передней. Но и оттуда видели они в дымных косых лучах солнца или в огне дорогой люстры блеск огромной картины над первым маршем лестницы... Рассказывали, что на втором этаже висит картина не меньших размеров: синяя, серебряная и золотая — море в лунную ночь. И много-много картин небольших.

Эта осведомленность и помогла Корнееву действовать в семнадцатом году решительно и быстро.

— ...Ты помнишь, с чего мы начали? Или забыл?! — тормошил он сейчас собеседника.

— Хорошо,— согласился Смирнов.— Давай восстановим события. Но не волнуйся и не забывай сам, что я был тогда в армии, далеко.

Но не волноваться они уже не могли.

— Слушай! — говорил Корнеев горячо.— Семнадцатый, март. Рабочую охрану поставили у банка, у почты, потом пошли к дому Морозовых. Что нас вело? Почему пошли? Картины порядочной в жизни никто не видел... Потом, через много лет, читал я в «Десяти днях» Джона Рида, как темная солдатня замирала в Зимнем у полотен, и понял: тут не ум, нет,— душа... Морозовы бежали налегке, все было в целости. С винтовками стали при этих лунных ночах, осенних полях и женщинах в старинных уборах. После Октября перенесли картины по соседству, в первый советский Дом культуры...

— А опись? Делали опись?

— Да! — твердо ответил Корнеев.

И обоим показалось странным, как они могли жить, не думая об исчезнувшем сокровище, не разыскивая его, будто бы эти десятилетия не были заполнены большими событиями века, будто бы не воевали они в молодости и под старость, не лежали в госпиталях, не учились, не строили, не странствовали...

Теперь душевные силы сосредоточились на одном: найти картины. Но чьей они кисти? И как называются? На это могла ответить только опись — удивительный, рожденный революцией документ, составленный красногвардейцами между подавлением двух мятежей — эсеров в Павловском Посаде и кулаков в соседнем селе. Корнееву казалось даже, что он помнит серую толстую бумагу и округло-старательный почерк юного красно-

гвардейца, который тщательно выводил имена художников и названия картин, а через день был убит наповал — в сердце.

Корнеев рылся в архивах хлопчатобумажного комбината, перерыл горы документов — почти за сто лет! — дышал и дышал пылью старых бумаг... и нашел то, что искал.

И вот они с Александром Ивановичем Смирновым перечитывают в десятый, в двадцатый раз: Айвазовский... Иванов... Васнецов... Маковский... Переплетчиков...

— Хорошо, что не искурили,— улыбается Корнеев, любовно поглаживая серую бумагу.

— Теперь можно искать,— говорит Смирнов.

И город за окном, обыкновенный, районный, с редкими огнями фонарей, старым трамваем, темной волнистой линией крыш на зареве дальних заводов, город, по булыжникам которого они научились ступать, как по половицам родного дома, кажется им вдруг новым и загадочным. Может быть, на соседнем чердаке в пыли лежит Айвазовский?..

Из большого и сложного опыта поисков — а чего только он не искал в жизни! — Александр Иванович Смирнов вынес убеждение, что ничто в мире не исчезает бесследно. Все можно найти: иногда нечаянно, чаще — в поте лица. Нечаянно нашел он стоянку человека эпохи неолита на берегу Биссерова озера, рядом с Москвой,— на зависть столичным археологам и этнографам. (Потом по материалам этой находки была написана диссертация — не им...) Нашел нечаянно в одной из старых часовен дивного ангела, сложившего белые крылья на затуманенную столетием мраморную плиту. («Мартос!» — воскликнули искусствоведы, и, не дав Александру Ивановичу опомниться, забрали ангела в Москву, в музей.) Долго искал старую керамику, вел

старательно раскопки там, где рождались и умирали на Московской Руси гончарные искусства, и нашел под землей керамический завод — обломки печей, тусклые, темные сосуды (выставил у себя в музее).

Думал о старине, а нашел и то, что нужно современности: залежи крупнозернистого песка, о котором мечтали давно машиностроители соседней Электростали. Это тоже нечаянно, а вот картину Рокотова искал-искал по дальним усадьбам, стаптывал башмаки, вышагивал версты... и, к счастью, нашел (на сей раз не отдал в Москву, повесил у себя в музее).

Александр Иванович решил начать поиски исчезнувших полотен с подробного осмотра Дома культуры. В кабинете директора, молодой женщины с добрым лицом, он достал старую серую бумагу, положил на стол, нежно, едва касаясь пальцами, разгладил.

— Вот... Пожалуйста...

— Айвазовский... Маковский... Васнецов... Что это?

— Картины. Их передали в ваш дом в семнадцатом. Красногвардейцы.

— Первый раз слышу.

— Дмитрий Иванович Корнеев сам переносил их сюда.

— Верю. Но...

— Разрешите мне порыться в подвалах и на чердаках. Что вы теряете?..

Она, видимо, поняла, что этот непреклонно настойчивый чудак не уйдет из ее кабинета, пока она не разрешит ему то, что он хочет. Успокоительно действовала толстая серая бумага с полустертой фиолетовой печатью. И, возвращая этот странный документ Смирнову, она бегло улыбнулась:

— Ищите...

Стар, велик, запущен этот дом! Построенный в начале века, он потом много раз перестраивался, плани-

ровка его менялась, усложнялась все больше... А захламлен! Удивительно даже для старого дома!

Александр Иванович искал. Это была тяжелая физическая работа. Надо было поднимать, перетаскивать полуразрушенные декорации. Он углублялся отважно в старинные недра дома, чувствуя себя рудокопом. Какие-то разбитые кресла, пыльные дорожки, горы старья... Это хорошо, даже весело, если тебе двадцать. Александру Ивановичу семьдесят.

Под вечер однажды работал он в комнате, захламленной и тесной. Ранние зимние сизо-белые сумерки освещали через высокое, оснеженное понизу окно вылинявшие до белизны старые флаги, дырявые барабаны, трубы с помятыми боками. Александр Иванович стал, не спеша, это разбирать, нашарил нечаянно лоскут, отогнул его — он засеребрился. Что это? Облупившаяся краска?

А когда освободил это неведомое от наваленной поверх разнообразной рухляди, увидел, что перед ним полотно, большое, порванное в нескольких местах. Он поднял его с великой осторожностью и, ставя у стены, лицом к окну, от волнения и боли в сердце почти ничего не видел. Потом отошел, собрался с духом и в молочных сумерках узнал эту волшебную кисть...

Полотно отсырело, облупилось, пожухло, но он не мог ошибиться — это было море, и лунная ночь, и Крым, еле видный огонь в окне на берегу... Александр Иванович заплакал. Потом овладел собой, сосредоточенно оглядел комнату.

Утром вошел в кабинет директора. Молодая женщина доброжелательно улыбнулась.

— Ищете?

— Нашел. К сожалению, не все. Шестнадцать из двадцати шести.

— Покажите.

Посмотрели.

— Им очень плохо,— сказал Александр Иванович. Он осунулся после бессонной ночи, говорил медленно, тяжело.— Надо заклеить папиросной бумагой живопись. И потом режим воздуха! Чувствуете, жарища?..

— Да...— покачала головой собеседница.

— Я заберу их сегодня.

— Заберете,— искренне удивилась женщина.— К себе? Но это же наше имущество. Я вызову научных работников, обновлю. А вам большое, большое...

— Я не оставлю их в вашем доме,— повторил Александр Иванович.

И вот настал долгожданный день. Александр Иванович уложил бережно полотна в автомашину.

— Я к вам еще вернусь! — весело объявил он директору Дома культуры.— Ждите: вернусь за Колумбом!

— За мраморным мальчиком? Не отдам!

— Это же работа Эмилио Зоччи! Достойная Эрмитажа... А у вас стоит в темном углу. Кисть одной руки отбили уже...

И тут молодая женщина рассердилась.

— Не беспокойтесь! Поставим на видном месте. На лестнице! Получили картины, и довольно с вас!

Александр Иванович тоже рассердился.

— Увожу шестнадцать полотен, а вам в семнадцатом передали двадцать шесть.

В музее заклеили живопись папиросной бумагой, и утром Александр Иванович поехал с картинами в Москву, в реставрационную мастерскую. По дороге его мучительно беспокоила мысль: хватит ли денег, чтобы заплатить за их восстановление,— бюджет музея невелик. Можно, конечно, добавить из собственной зарплаты, но все равно, наверное, этого будет мало: большая работа!

В мастерской реставраторы осматривали картины

долго, сокрушенно качали головами. Александр Иванович объяснял, что и почему. Потом заговорил о деньгах. Художники даже обиделись. Они ответили, что могут восстанавливать только бесплатно, что реставрировать их за деньги — кощунство.

И вот я еду в Ногинск, чтобы познакомиться с Александром Ивановичем Смирновым. Вхожу в музей, навстречу мне — высокий, худощавый, стройный, улыбающийся (да неужели же семьдесят ему?), лицо в густой сети морщин, но тоже не старое, наверное от улыбки и выражения интереса к гостю... Лишь через минуту замечаю: плечи опущены слегка — устало.

В его замедленных жестах, в том, как он подает руку, поправляет редкие седые волосы, есть что-то старомодно-изящное. (А я-то воображал его по дороге сюда быстрым, угловато подвижным — раз искатель, то непременно устремлен к чему-то!) И улыбка какая-то замедленная, точно стесняющаяся самой себя.

— Хотите посмотреть? Пожалуйста...

Вошли в небольшую комнату — и я ахнул: передо мной было чудо. Юноша сидел на берегу моря. Нет, моря не было — был камень, смутно-белый, человечески нежный, с желтинкой, точно окрашенный навечно южным солнцем, и из камня сильное, легкое тело юноши, непринужденно откинутое на одну руку, живое думающее лицо. В этом лице умирал мальчик и рождался мужчина — была в нем трогательная доверчивость, все еще различимая в резко-волевом выражении силы, готовности к риску и жертве. Казалось, сильный ветер разметал его волосы.

— Молодой Колумб работы замечательного флорентийца Эмилио Зоччи,— пояснил Александр Иванович.

Насилу оторвавшись от Колумба, я посмотрел на стены. Тесно-тесно увешаны они картинами в рамах и без рам — тут их не на одну комнату, а, пожалуй, на десять! Надо мною высоко царило море, на этот раз не воображаемое, а настоящее, осеребренное луной: Айвазовский. Подошел и увидел ниже маленькую картину — желтый осенний день освещает избу над тихой рекой: Левитан...

А через час, возвращаясь в кабинет Александра Ивановича, заметил в тускло освещенном коридоре что-то большое, темное, тяжелое — старинный сундук, что ли? И конечно, не остановился бы, если бы не различил в последний миг что-то похожее на буквы.

И когда Александр Иванович зажег огонь поярче, на большом и тяжелом, каком-то первобытно грубом камне — то ли красном, то ли черном — выступила странная надпись:

«Квирин Кульман замучен и сожжен как еретик в 1689 году».

Квирин Кульман? Несколько секунд память моя работала напряженно... Ах да! Алексей Толстой, «Петр Первый», морозно-туманный, с низким солнцем, день в старой Москве. Болотная площадь, сожжение по указу царевны Софьи немецкого еретика...

— Как попала к вам эта плита, Александр Иванович?

— История долгая,— ответил он.

И вот мы сидим за старым обширным письменным столом, где рядом с чернильницей-«непроливайкой» лежит череп первобытного человека.

— До войны я учительствовал,— начинает Александр Иванович.— Черчение было у меня, рисование, лепка. И любил путешествовать с ребятами по району. Уходили на день, на два и, конечно, пешком, ночевали в дороге... Посвящали путешествие птицам, шли лесом,

узнавали их по голосам. Или звездам. Деревьям тоже, травам... Были у нас и маленькие открытия: водоемов, забытых парков, старых карьеров... Ну вот шли мы однажды по берегу реки Вори и зашли в парк, был он устроен давным-давно вокруг усадьбы екатерининского вельможи Лопухина, масона и вольнодумца. Запущен он был и особенно хорош этой немного таинственной красотой старого, одичавшего парка. И весь изрезан искусственными прудами. И там и сям островки... И на одном из них между корней старой сосны увидели угол камня. Стали копать, обнажилась плита, надпись на ней: «Квирин Кульман...» Через день написал я письмо Алексею Толстому. Он ответил быстро: «Ваша находка чрезвычайно интересна для истории германской литературы, потому что Квирин Кульман крупный немецкий поэт середины XVII века. Хочется поговорить с Вами, заходите...» И поехал я к нему, волновался, как мальчик.

Алексей Николаевич Толстой сумрачен был в тот день, может быть нездоров, и очаровал меня редкой улыбкой. Говорил, что, возможно, могила эта символическая: русский вольнодумец, человек, близкий к Новикову, решил почтить память немецкого поэта, что все это интересно, надо копать глубже... Было это перед самой войной. А через два года шел я горящим Смоленском, и навстречу мне из-за угла вышел, как во сне, Алексей Толстой в сопровождении генералов. Не выдержал я, побежал к нему: «Не узнаете... я... Квирин Кульман...» Узнал! «Ваша находка, капитан, весьма интересна. Берегите камень». После победы вернулся я из Кенигсберга, из госпиталя, домой и в тот же день побежал на островок, а плиты нет. Месяц искал по соседним деревням. И нашел все-таки у колхозницы Авдотьи Посховой: изба за войну одряхлела, камень понадобился в фундамент. Был у нас в музее ученый из Дрездена, пи-

шет исследование о Кульмане, он часами от этого камня не отходил.

Потом Александр Иванович заговорил о самом, видимо, любимом и о самом больном — о деревьях: — Чудесная роща была в том парке Лопухина. Вырубили. Думали, пойдет высоковольтная линия. И ошиблись. Линия левее пошла... Забыть не могу, как Ленин велел арестовать однажды коменданта Горок только за одну погубленную сосну...

Я хочу увидеть, потрогать письмо, написанное Алексеем Толстым. Александр Иванович раскрывает передо мной обыкновенную картонную папку. Читаю, листаю и через несколько минут с удивлением узнаю, что в этот маленький город писал не только Алексей Толстой, но и Максим Горький... Ромен Роллан... почетный академик, герой Шлиссельбургской крепости Николай Морозов.

— У нас была открыта после революции первая в республике народная обсерватория,— рассказывает Смирнов,— и опыты по оживлению организма тоже первыми начали мы, наш врач Чечулин. А названия наших улиц!..

...Он «открывал» мне город все увлеченнее, в отчетливых, ярких подробностях, внешне беспорядочно и внутренне стройно, как умеют это делать старые краеведы. Я узнавал, что в этом городе — недаром стоит он на старой Владимирке — родились, жили, боролись революционеры, чьими именами названы сегодня улицы. (В их числе Анатолий Железняков, легендарный матрос Железняк.) А рядом в селе Плотове томился в холерном карантине Пушкин...

Существует мнение, что в наши дни открытия возможны в космосе или микромире, а на географических картах не осталось «белых пятен». Думаю, что все зависит от масштаба карты: на карте мира действительно

нет «белых пятен», но они есть на карте области, а еще больше их на карте района.

Но об этом часто забывают. Особенно теперь, когда молодые поэты воспевают космический взгляд на жизнь. Это, наверное, весьма красиво — космически воспринимать бытие... Но порой стоит нагнуться и потрогать траву, по которой мы ходим.

Я люблю людей, которых волнуют «белые пятна» на карте района. Эти люди помогают мне еще лучше узнавать, еще больше любить Родину. Они воспитывают в нас радостное ощущение волшебства родной земли.

Это, конечно, замечательно — поехать в Африку и открыть в Сахаре, на удивление цивилизованному человечеству, наскальные рисунки доисторических художников. Но вот М. М. Пришвин мудро заметил однажды, что для того, чтобы понять сказочное плодородие неведомого Нила, надо хорошо увидеть чернобархатные луга за Окой. Положишь на сердце милую Оку — поймешь и далекий Нил. Это умение хорошо видеть Родину, понимая через нее общечеловеческое, даже космическое, и делает мир, окружающий нас, миром обыкновенных открытий...

Я писал о Смирнове поздно вечером и, может быть, поэтому мысленно видел, как мой герой идет по неярко освещенным улицам небольшого города. Он идет и думает о том, что из двадцати шести картин удалось пока найти только шестнадцать. Остальные?.. Он выступал по радио, писал в местную газету, ходил по домам, облазил старые чердаки. А может быть, одна из них висит за этим оранжевым окном? Люди пьют чай, переживают у телевизора, шутят как ни в чем не бывало, а она висит...

Живут на этой улице строители: они подняли рядом микрорайон. И артисты: они ставят в местном театре Шекспира и Горького. И врачи: они делают тончайшие операции не хуже, чем в Москве. Живут тысячи умных, талантливых людей. И живет мещанин — тот, кто украл у революции картину, маленькое вечное чудо...

Александр Иванович открывает музей. Вечером он открывает его снаружи, утром изнутри, потому что это музей для нас с вами, а для него то, что и ребенок и старик называют двумя словами: мой дом.

Он входит, не зажигая огня, в небольшую комнату — луч районной луны (похожей на детскую лупу) нацеленно бьет в мрамор, бледный и нежный, освещая грубый излом отбитой руки, чуть открошившиеся кудри, нетронутое лицо мальчика Колумба...

Кюну первому я читал очерк о Смирнове,— было это в редакции поздно вечером, в облаках табачного дыма,— замирая от волнения, ждал я его суда. Он немногословно, с рядом точных замечаний, одобрил, затем заметил: «Самое существенное в том, что это государственный человек и...— он подумал,— рыцарь! Да, именно рыцарь...»

Я не понял тогда, почему Женя вывел понятие «рыцарь» из «государственного человека».

Мы в тот вечер долго говорили о бескорыстии. И я почему-то ни разу не подумал о том, что оно — ЖИВОЕ — сейчас передо мной и надо не беседовать о нем, а наслаждаться непосредственно его улыбкой, естественностью, теплом руки...

Но может и не стоит себя осуждать теперь за это? Разве те, кто две с половиной тысячи лет назад на улицах Афин беседовали с Сократом о бессмертии, понимали, что само живое бессмертие с ними говорит?..



Рыцари

Жить с пользою для своего отечества и умереть, оплакиваемым друзьями,— вот что достойно истинного гражданина.

М. Ф. Орлов, декабрист

Была полночь. Редакция засыпала. Отдыхали пишущие машинки и телетайпы. Курьерши, пошатываясь от усталости, тащили из типографии сырые пахучие полосы. Стояла успокоительная тишина.

На пороге кабинета выросла неожиданная в этот час фигура — в темном дорожном плаще, с потрепанным

чемоданом. Легким шагом незнакомец подошел к моему столу, поставил чемодан, открыл его и выхватил пачку мятых, исписанных карандашом листов.

— Хорошо, что редакции работают по ночам,— сказал он, захлопывая чемодан.— Они все-таки подписали. Ничего не увидели... Не захотели увидеть!

Я слушал его удивленно, не понимая.

Он быстро подошел к карте области на стене.

— Посмотрите! Дорога Тропарево — Губино стоила миллион, не успели построить — развалилась. Дорога Талдом — Дмитров... Плачут шоферы! А теплая, не остыла еще... Дорога из Коробово в Шатуру... Я написал! — Он дотронулся до пачки мятых листов.— Разберете ли? В поезде карандаш пляшет... Говорят, вечных дорог нет и не будет. Были и будут! Хочу, чтобы... вечно...

Сел и улыбнулся растерянно.

— Извините, даже не поздоровался. Гаврилов, Иван Федорович, инженер технадзора областного дорожного управления.

...Санчо Панса сказал о Дон-Кихоте:

«Он не безумен, он дерзновенен».

Он сказал это перед тем, как рыцарь вышел на единоборство со львами.

Что такое дорога?

У Даля сказано — «ездовая полоса». У Ушакова — «путь сообщения». Для Гаврилова — это не полоса и не путь, а сама жизнь. Гаврилов мыслит дорогами, как художник — образами.

Дороги для него — образы мира.

Четырнадцатилетняя дочь Гаврилова объявила ему

однажды, что решила поступить в цирковое училище. Он мысленно с замирающим сердцем увидел ее фигурку на легкой трапеции под куполом цирка, и в тот же миг в нем ожило воспоминание о дороге по льду через Волгу. Даже не воспоминание — физическое ощущение обламывающегося льда. Он строил это в сорок втором...

До войны Гаврилов успел построить шоссе Атбасар — Покровка (первую каменную дорогу в Северном Казахстане). Она была для него тем, чем и должна быть дорога,— воплощением надежности, обещанием, что все в пути будет хорошо.

По ней потащились быки, поскакали всадники. Один из них, старик казах, соскочил с коня, обнял Гаврилова — спасибо!

Сто лет ему, не меньше, решил Гаврилов и с удовольствием подумал, что дороге тоже будет сто... двести... триста... Сносу нет этой каменной шашке!

Дорога по льду живет день, час, минуту. Она — воплощение ненадежности, отсутствия любых обещаний.

Гаврилов укреплял ее хитроумными настилами, строил сваи, но лед обламывался под тяжестью людей и техники. То были самые горькие часы в его жизни. Все перевернулось в мире — дорога перестала быть дорогой.

С тех пор чувство тревоги и утраты, ожидание беды, даже ощущение непрочности чего-то, соединились в нем с воспоминанием о дороге по льду.

Это воспоминание в последние месяцы оживало все чаще. В один из дней поздней осени в кабинете, обставленном тяжелой мебелью, с ковром, заглушающим шаги, и портьерами на окнах ему почудилось, что он слышит из дальней дали похожий на смутное эхо треск обламывающегося льда.

— Читал вашу докладную...— говорил суховато, чуть улыбаясь, человек за массивным письменным столом.— Хорошие мысли. Да, дороги должны служить долго...

— Должны! А в действительности? Вот расчеты. Анализ экономической жизни трех районных дорог за последние десять лет. На восстановление истрачено больше, чем на первоначальное их сооружение. А те, кто строил, ходили и ходят героями. Перевыполнение планов, экономия материалов. Щебеночное основание уменьшают до восьми сантиметров, стелют асфальт почти на голую землю...

— Мы с вами оба новые люди в управлении, Иван Федорович. Работаем меньше двух лет...

— И сейчас не лучше! В том году построили дорог на шестьдесят миллионов, а в этом затратили уже более девятисот тысяч на их восстановление. Не дороги — бутафория. Для театра, а не для жизни. Непримиримость нужна. Эх! Вы же поддерживали меня поначалу. Я жене, дочерям рассказывал о вас, честное слово!

Человек за письменным столом улыбнулся. И опять послышался Гаврилову треск обламывающегося льда.

— Вам смешно?

— Я и сейчас готов поддержать вас, но...

— Завтра выезжает комиссия в Коробово...

— ...вы, как ребенок, хотите, чтобы в один день все стало хорошо.

— Я к вам не с игрушками — с цифрами.

— Строим не мы — трест...

— Но для нас же строят! А мы? Миримся, подписываем государственные акты. Халтурщики наглеют! В Коробово толщина асфальта...

И тут Гаврилов увидел, что лицо его собеседника обращено к настольному календарю. «12 октября». Да, план нужен и тресту, и управлению!..

— ...толщина асфальта уменьшена, обочины...

— Я думаю, что комиссия сама посмотрит и решит. В ней опытные люди.

— Дорогу Бородино — Валуево той осенью, помните,

ввели? Тоже опытные люди подписывали! А весной уже реставрировали...

— Чего вы хотите?

— Я завтра в Коробово поеду. Сам покажу им эту дорогу.

— Хорошо...

И рано утром он поехал. В окна вагона бил осенний дождь. Члены комиссии должны были выехать поближе к полудню на автомашине. Он не надеялся, что они возьмут его с собой, и решил ожидать их на месте, в конторе дорожно-эксплуатационного участка (ДЭУ). Обыкновенно комиссии начинают работу с того, что — поверхностно или глубоко — изучают собранную в ДЭУ техническую документацию: зеркало дороги.

Он ждал до четырех, комиссия не появилась. В эти часы, листая синьки чертежей и записи обследований, Гаврилов невольно думал: три дорожные организации в области — управление, трест и Гушосдор. И руководители их, поочередно участвуя в работе государственных комиссий, подписывают акты на дорогах друг у друга.

В пятом часу он вместе с начальником ДЭУ сел в многострадальный «газик» и поехал на новую трассу — искать комиссию. Нашли ее километрах в тридцати, у магазина сельпо. Члены комиссии покупали папиросы; в стороне стояла «Победа».

— А я ищу вас! Жду! — побежал к ним Гаврилов.

— Кто вы? — холодно осведомился один из членов комиссии. Двое молчали.

— Инженер технадзора! Это моя дорога. С вами мы действительно незнакомы. Но с остальными... Подтвердите, товарищи!

— Мы уже осмотрели дорогу.

— Вы видели ее в первый раз, а я в сотый, может быть, в тысячный. Разрешите вам показать...

Договорились, что «Победа» поедет за «газиком»; остановится одна машина — затормозит и вторая...

В первый раз «Победа» остановилась. Гаврилов показал комиссии трещины, рассекающие асфальт. Поехали дальше, «газик» остановился опять, но «Победа» будто и не заметила: не сбавляя хода помчалась к Шатуре. «Газик» обогнал ее, снова пошел первым, остановился в третий раз. Но «Победа» точно ослепла! Догнать ее уже не удалось, шла она со скоростью сто — сто двадцать километров в час.

«В чем дело? — думал Гаврилов, торопя шофера.— Неужели я убедил их с первого раза? Неужели? А что? Трещины нешуточные!..»

Он вошел в контору дорожно-строительного участка (ДСУ) в тот момент, когда перья обмакнули в чернила. По выражению лиц понял все.

— Хотите подписать акт? Но ведь толщина асфальта уменьшена, у обочин различная ширина, укрепительные работы даже не начаты, дом дорожного мастера не построен... Вы не должны подписывать, выслушайте меня.

— Надо ходить по земле,— не повышая голоса, вежливо сказал ему незнакомый член комиссии,— а вы витаете в небе. Не мешайте работать.

Остальные двое молчали.

— Дорога выйдет из строя через несколько месяцев,— не унимался Гаврилов.— Государство же пострадает! Государство...

— Был один французский король, Людовик Четырнадцатый,— перебил его член комиссии.— Он говорил: государство — это я. Не подражайте ему. Мы тоже разбираемся в интересах государства.

— Да, государство — это я! Не дам вам подписать. Хоть и не король!

— Что?! — в голосе вежливого члена комиссии зазвенел металл.— Уходите отсюда. Ну?

...В поезде он писал. Плясал в руке карандаш, мелькали за окном туманные огни.

Это и были те торопливо исписанные мятые листки, которые он положил мне на стол в полночь, когда в редакции стоит успокоительная тишина, отдыхают машинки и телетайпы...

Статью «Вместо дорог — бутафория» напечатали. В ней назывались поименно руководители областного управления и треста, члены государственной комиссии. Подвергалась сомнению вся система работы подобных комиссий в дорожном хозяйстве.

Обсуждали статью в одном из управлений Министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР. Я не был на этом обсуждении, Гаврилов был.

Начали утром. Темнело, когда он вышел из министерства.

«Трудно... трудно...— думал он.— Вот это сопротивление материала!» От речей, табачного дыма, усталости шумела голова.

Он шел на вокзал узкими переулками с высоким вечереющим небом — хотелось тишины. В ранних сумерках, резко подсвеченных белизной сугробов, теснились не освещенные еще громады домов. И он вдруг вздрогнул от ощущения, что это не дома, а скалы...

Они жили в палатках. Дул сырой ветер с Баренцева моря — к вечеру пальто наливалось тяжестью чугуна, у самых сильных ломило плечи. Собственно говоря, вечера не было и не было утра, стояла полярная ночь, бесконечные сумерки...

Дорогу вырубали в скалах динамитом и мостили обломками тех же скал. Исполинские катки медленно и тяжело их уминали.

Скалы были темными, высокими. Когда после шестимесячной ночи взошло неслепящее и все же ослепительно яркое солнце, камень многоцветно засверкал, и все

увидели, как он красив. Один мастер рассказал, что из подобного камня вырубали колоссальные человеческие фигуры и лица, и они пережили не века, а тысячелетия... И это были, пожалуй, единственные минуты, когда они думали и говорили о чем-то далеком от их дороги. Она забирала все силы. Сопротивление материала было огромным. Они видели, ощущали, они теснили камень.

Там, на Кольском полуострове, он тяжело заболел. Старый доктор с чисто мужской откровенностью пообещал ему, что он умрет, если не уедет на юг. И все же он не хотел уезжать. Заставили... Последние километры вырубали без него.

Это было десять лет назад. Он не умер. Он построил осененное высокими тополями шоссе в Западной Украине, и трассу Кулунда — Барнаул для целинного хлеба, и дороги для шахтеров Новомосковска. На Украине была игра солнца и тени на овлажненном дождями асфальте; целинную трассу обнимали облака пыли, и даже днем машины шли с зажженными фарами; под Новомосковском зимой наносило снега выше человеческого роста. Он странствовал вместе с семьей. Работа и быт были слиты — детские вещи сушились над листами ватмана с очертаниями будущих трасс.

Он странствовал и строил, но все эти дороги, и более и менее легкие, с мостами и без мостов, в степи и в лесах не могли восполнить в его жизни утраты тех последних километров в скалах.

Он подумал о младшей дочери. У нее закружилась голова на уроке, она упала с трапеции и уже не могла вернуться в цирковое училище. Сейчас она выступает в народном театре с веселыми рассказами. Зал смеется, и никто не догадывается, что вот недавно разбилась ее полудетская смелая мечта.

Может быть, все дело в том, что он наперекор докторам на всех широтах пытался достроить, довершить

ту вечную дорогу, искупая невольную вину перед ней...

В переулке зажглись редкие огни. Он вышел на Каланчевку. Через пять минут вокзал, потом Пушкино, его дом, жена, дочери...

Старшая с детства влюблена в географические карты — как мальчишка. Сейчас кончает картографический институт.

Карты ее с морями, горами, старыми и новыми дорогами будут висеть в магазинах географических изданий, похожих на бюро путешествий, в классах школ... Может быть, в кабинете министра автомобильного транспорта и шоссейных дорог.

И сейчас, наверное, в этом кабинете висит карта, и на ней дороги Гаврилова. Возможно, министр даже помнит о нем — посылал же ему поздравительные телеграммы на целину и на Украину!..

Дома он сел за стол. Положил перед собой чистый лист бумаги.

«Уважаемый Василий Федорович!»

Он рассказал о том, что не давало ему спать ночами, и о статье «Вместо дорог — бутафория», и как ее обсуждали...

«У строителей недолговечных трасс нашлись покровители. Эти товарищи, не отрицая фактов, осуждали меня только за то, что я чересчур часто бью тревогу. И решение вынесли ни к чему не обязывающее — ни строителей, ни государственные комиссии...

Может быть, я и в самом деле не следил за изяществом моей речи во время спора в Коробово и Шатуре, но я никого не оскорбил и отстаивал государственные интересы...

После этого совещания что-то во мне надломилось, потерялась вера в то, что работа моя нужна...

Хотелось бы узнать Ваше мнение, Василий Федорович...»

Он отправил министру заказное письмо, показал жене и дочерям почтовую квитанцию, и они наизусть запомнили ее номер — 978...

Весной он вошел ко мне бодрый, улыбающийся.

— Сочините, пожалуйста, характеристику.

Оказалось, что он хочет поступить в Московский вечерний университет журналистики.

— Не удивляйтесь! Хочу учиться. Стыдно, что вы переписывали за меня целые абзацы. И...— Он смущенно замялся.

— Уверовали в могущество печати? — помог я ему.

(Месяца за два до этого исполком облсовета и министерство вынесли решения, насыщенные различными мерами по улучшению качества новых дорог. Строители и покровители недолговечных трасс были строго наказаны.)

— В это я и раньше верил. А сейчас полюбил газету. Даже слов не хватает выразить, до чего я люблю ее сейчас!

Я начал описывать его сотрудничество в газете.

«Гаврилов Иван Федорович, инженер технадзора областного дорожного управления...»

— Я уже не инженер технадзора,— сказал он.

Перо мое замерло.

— Теперь я на новой работе. В бюро технической помощи нашего министерства. Дело интересное. Буду изучать хорошее, что есть у строителей дорог всей России... Понимаете? Потянуло к хорошему!

Я понимал его. Да и можно ли по-человечески это не понять? И стал писать характеристику дальше.

«Его критические материалы отличались точностью фактов, остротой постановки вопроса, глубиной экономического анализа...»

Он уехал и появился через месяц, тоже радостный и возбужденный.

— Видел чудесную дорогу под Саратовом. Не дорога — песня! Лазил, изучал! Я эту песню...— и поднял руки, как дирижер перед хором.— Пожалуй, в Коробово стоит поехать...

При воспоминании о Коробово погрустнел, посмотрел на меня серьезно.

— Неспокойно у меня на душе. Совесть мучает, если начистоту... И чем больше вижу хорошего, тем сильнее... Надо наступать! Спасать худо построенные дороги. Ведь оттого, что они рассыпаются, может пострадать любой из нас — и вы, и я, и мои дочери... Не дождаться помощи, не дойти до цели...

Вот он сидит передо мной — худощавый пятидесятилетний человек с лицом, изрезанным суровыми морщинами (дорога — морщина!), с быстрыми, по-мальчишески непосредственными жестами легких и, видимо, сильных рук. Когда он смеется, в его лице оживает, спяя, та милая капля детства, которая навечно сохраняется у людей чистой жизни и тревожной совести.

Перечитываю написанное, и тянет меня вычеркнуть упоминание о Дон-Кихоте: боюсь, что читатель подумает, будто я вижу в Гаврилове черты донкихотства. Но ведь само это выражение с его определенным печально-ироническим зерном, по-моему, уже устарело. Дар возвышенного переосмысления жизни и доверчивого отношения к ней в наши дни несравненно менее смешон и более близок к истине, чем четыреста лет назад на старых дорогах Испании.

Я не вычеркиваю тех строк, потому что вижу в Гаврилове современного странствующего рыцаря. Тысячи моих соотечественников несут в себе рыцарское отно-

шение к долгу, к жизни, и странствуют они, как никто никогда не странствовал, осваивая новые дороги и земли.

У современного странствующего рыцаря — огромный вкус к экономике. Чтобы защитить интересы государства, мало честного, бесстрашного сердца, надо разбираться в тонкостях себестоимости. Но дело, конечно, не только в этом — крупинка вечности нужна и в дорогах, и в стихах, в тоннелях, в мостах, в любви...

Теперь, когда я познакомился с Гавриловым, меня уже не могло удивить соседство рожденных в различные эпохи определений: «рыцарь» и «государственный человек». Я понимал, что истинно государственный человек сегодня — это именно рыцарь. То сочетание нравственных достоинств, которое мы имеем в виду, называя человека государственным, раньше, в иные века (да и сейчас, конечно, там, где существует отчуждение), объединялось иными понятиями: борец за истину, мученик за общее дело и, разумеется, революционер. Понятия эти были неразрывно сопряжены с чисто рыцарской самоотверженностью и доблестью, с неразрывностью помышления и действия. Рыцарем называли Ф. Э. Дзержинского, этим словом определял Герцен величие декабристов...

Нравственным первоистоком деятельности рыцаря-революционера было — и остается — в любой век, говоря языком Радищева, чуточку архаичным, но тем не менее незаменимо точным и полновесным, стремление к «вершине блаженства общественного».

«Соучастником быть во благоденствие себе подобных» (тоже слова Радищева) — для рыцаря высшая радость.

Стремление к «блаженству общественному» занимало во все века в этике революционеров особое место. На созданном высокой фантазией Томаса Мора острове

Утопия были почитаемы более остальных те, кто забывал о себе «ради пламенной заботы о других и об обществе». А Кампанелла, рассказывая о Городе Солнца, явственно выразил самое существенное: «Когда мы отрешимся от себялюбия, у нас остается только любовь к общине». Подобный образ жизни он именовал «философским», памятуя при этом, возможно, об известном положении Платона: «...пока государственная сила и философия не совпадут в одно... дотоле ни городá, ни даже, думаю, человеческий род не жди конца злу...»

Полагаю, что скромный инженер технадзора дорожного управления Гаврилов и сотни его безвестных соратников и единомышленников искренне удивятся, если кто-нибудь назовет их образ жизни «философским» лишь потому, что они даже в мелочах думают о государственной пользе, уважают народное добро, не мирятся с непрактичностью, с торжеством сиюминутных интересов в ущерб коренному благу. Они делают это, как нечто само собой разумеющееся, насущное, важное житейски. Что общего у будничных наших забот, подумают они недоуменно, с высоким пониманием «философского образа жизни»?! С фантастикой острова Утопии и Города Солнца?!

Между тем, если иметь в виду, говоря о «философском образе жизни», не только героическое поведение перед лицом трагических событий, но и дела самые маленькие, самые будничные, однако в сумме мощно «работающие» на благо обществу и тоже являющие собой вызов «обыденному» существованию, они, безвестные эти люди,— достойные последователи великих, чей разум подобно солнцу освещает человечеству путь к совершенству, к «блаженству общественному». Их образ жизни — подлинно философский, потому что он делает мир лучше.

Это относится и к Ивану Федоровичу Гаврилову,



Путь к истине

Человек, не имеющий понятия об истине, никоим образом не может быть назван счастливым.

Сенека

В старину говорили: «поэты рождаются, ораторами делаются». Рыцарями и рождаются и делаются. Путь к рыцарству, к «философскому образу жизни» может быть и долгим, тяжким, с бессонными ночами, переосмыслением себя и мира, с мучительной переоценкой ценностей.

Гаврилов — рыцарь цельной и крылатой судьбы, но бывают судьбы иные, сложные, трудные: стремление к «блаженству общественному» человек начинает чувствовать, поняв ложность того, чем раньше жил, осознав тщету и страстей, и мыслей, имевших до этого над ним безраздельную власть.

Выше, рассказывая о Гаврилове, я писал: крупинка вечности нужна и в дорогах, и в стихах, в тоннелях, в мостах, в любви... И вот, чтобы рыцарски одарить мир этой «крупинкой», нужна порой душевная борьба, торжество над заблуждениями.

В день, когда я первый раз был у Александра Семеновича Жигалко, он получил из Чайковского номер газеты «Огни Камы»; в статье «Нашей галерее — два года» рассказывалось о том, что с замечательным собранием картин, которые Жигалко подарил городу, уже познакомились около семидесяти двух тысяч человек. Живет же в Чайковском пятьдесят тысяч. Автор статьи сообщал и о том, что в соседнем большом городе с миллионным населением художественную галерею посещает ежегодно сорок пять — пятьдесят тысяч человек и делал отсюда вывод, что в его родном Чайковском безмерный, фантастический по ценности дар старейшего советского коллекционера стал исключительным событием духовной жизни. Содержались в статье и несколько наивных — милых в этой наивности штрихов, например получено письмо из Москвы от Ираклия Андроникова,— ведь теперь Чайковский располагает и рисунками Лермонтова! Тут нечто похожее на мальчишескую гордость, да ведь и Чайковский — город-мальчишка, ему чуть больше десяти. И вот мальчишка нежданно-негаданно стал обладателем несметного сокровища, которому завидуют (втайне) взрослые, солидные люди.

Что же это за сокровище? Нет, пожалуй, ни одного большого русского и советского художника, чьи картины не украшали бы сегодня маленький город на Каме. Кипренский, Орловский, Брюллов, Тропинин, Веницианов, А. Иванов, Суриков, Репин, Шишкин, Айвазовский, Левитан, Нестеров, Коровин, Поленов, Серов, Рерих, Борисов-Мусатов, Архипов, Кустодиев, Пластов, Рылов, Кончаловский... По мнению искусствоведов, это — одно из интереснейших художественных собраний; наиболее ценные его полотна не раз выставлялись в 20—30-х годах в Третьяковской галерее, подлинность их авторитетно удостоверена. Заключены в этом собрании и вещи абсолютно уникальные: рисунки Сурикова с поисками композиции к картине «Боярыня Морозова», этюды его к «Утру стрелецкой казни», эскизы Коровина к балету «Конек-Горбунок». (В экспозиции галереи Коровину отведен целый зал; по мнению местной газеты, ради бы одного этого стоит побывать в городе на Каме!) А «левитанов-то» не один, а более десяти, а «нестеровых-то» два, а «шишкиных»...

Но я уже читаю не «Огни Камы», а выступление искусствоведа Н. Казариновой в областной пермской газете. «В течение шестидесяти пяти лет,— пишет она об А. С. Жигалко,— начиная с 1904 года, этот человек собирал картины, этюды, рисунки русских и зарубежных художников».

«Этот человек» сидит сейчас передо мной, старый, с опущенной от нездоровья,— или в раздумье? — головой, с серьезным и строгим лицом, сидит в молчании, замкнуто, даже сурово. Едва войдя в комнату, я отметил про себя это молчащее лицо и этот заваленный обильно газетами, письмами, документами стол и подумал, что мне явственно дают понять нежелательность утомительной беседы. Перелистав бумаги, я посмотрел на стены, увешанные картинами рама к раме, видимо, теми немно-

гими, что остались от большой, в четыре тысячи полотен, коллекции; стояли картины и на полу; чувствовался в этом канун дороги, что-то временное, вокзальное, и мне показалось, что даже в диковинном, живописном беспорядке антикварного магазина больше уюта. Разумеется, я догадывался, что оставлено самое... нет, не любимое даже, а личное, сокровенное и даже, пожалуй, не сокровенное, а неотрывное, что ли, потому что и не картины это вовсе, а сама ткань его жизни — живая ткань, которую от себя не отодрать, как живую кожу. Но понять, почему остались именно эти, я, конечно, не мог. А он молчал, пока я рассматривал картины, как молчал и тогда, когда я читал газеты и письма, разбросанные по столу. Он сидел отстраненно, точно оставлял меня один на один с тем, что было сутью его жизни; молчанье его можно было истолковать и как доверие к моему пониманию и как безразличие к моему суждению о нем. Я подумал о безразличии: понуро молчавший старый человек, казалось, не замечал меня.

Но через минуту, когда я рассматривал самое большое в комнате полотно, на котором бесспорно мощная кисть запечатлела немолодого человека в арестантском халате, с оплывшим тюремным лицом, услышал:

— Это — Репин. Эскиз к картине «Не ждали».

Я обернулся. Жигалко мимо меня уставился, не мигая... в арестанта? — нет, куда-то поверх него, будто не картина это, а окно большое, и он видит по ту сторону толстого, для меня непроглядного стекла нечто явственно волнующее, достойное углубленной сосредоточенности.

— Это моя первая,— заговорил опять,— купил в девятьсот четвертом... студентом... на дешевой распродаже... оказалось, Репин... думали даже: портрет Достоевского... нет конечно... эскиз к «Не ждали»... долго рылся... на Кузнецком мосту... с него и пошло...

Оттого, что он перед этим молчал и сейчас говорил с паузами, на коротком дыхании, не отрываясь от окна-картины, речь его показалась мне долгой, уемистой, как повесть.

Я понадеялся, что он при мне сейчас посмотрит и в соседние окна, но Жигалко опять опустил голову, углубился в себя. Я же, усевшись опять за стол, стал перебирать бумаги, перечитал одно письмо из Чайковского, от директора того самого ранее безвестного музея, который дар Жигалко, его коллекция картин поставили в один ряд с лучшими картинными галереями. Письмо восторженное и в то же время целеустремленное, душевное и в чем-то утилитарное. «Картины, которые у Вас остались (я передаю его содержание не дословно, а по памяти) могут обогатить и пополнить ряд ценных разделов, рожденной Вашей несравненной щедростью галереи. Репин, Айвазовский, Левитан, Серов... Мы их вернем по первому Вашему настоянию, а сейчас не лучше ли ввести их в нашу экспозицию? Кто их видит в Вашей комнате?»

Отложив письмо, я посмотрел на Жигалко и решился на первый мой вопрос:

— Отдадите?

Подумал, ответил:

— Не отдам.

И пояснил:

— Я отдал больше, чем может отдать человек. Я хочу что-то оставить себе.

Опять подумал:

— Не отдам,— подался ко мне: — Полагаете, я должен отдать и *это*?

— Нет,— ответил я,— *это* вы не должны, а вернее, не можете отдать...

— Не могу? — улыбнулся первый раз,— а те две картины: Серова и Боровиковского?

— Вы послали их после этого письма?

— Я не посылал, а отдал их ему лично, он ведь не только пишет, ему сесть в поезд...

— Не отдавайте ничего больше,— повторил я более уверенно, вообразив его в голых стенах, в стенах без этих окон в его жизнь.

— Не отдам,— сказал он и чуть удивился,— вот уж не думал, что вы посоветуете не отдавать. Был до вас журналист, убеждал меня отдать до последней дощечки. Говорю, я отдал тысячу... потом две тысячи... потом четыре тысячи... А он: ну вот и хорошо, а эти пожалели?

— Вам нельзя это отдавать,— повторил я и высказал мысль, появившуюся у меня в его доме в первые же минуты: — Это ведь больше чем картины — это сама ваша жизнь.

— А разве там,— он слабо махнул рукой куда-то,— там, в Чайковском, не моя жизнь?!

— Мне казалось,— уточнил я,— что эти картины дороги вам особенно. Я ошибся?

— Он — удивительный человек,— начал Жигалко рассказывать, не отвечая на мой вопрос.— Он на редкость бескорыстный, работает на общественных началах... без денег... за семьдесят ему... а сесть в поезд... он дышит этой галереей... когда я дал ему Серова и Боровиковского, он... да если бы не он... может и галереи не было бы. Он редкий человек, вы не осуждайте его за письмо.

— И не думаю осуждать,— ответил я,— но это,— показал на стены,— но это не отдавайте.

И тут в его лице явственно мелькнуло что-то похожее на иронию. Мелькнуло и растворилось. Он опять нахмурился, нахохлился, наклонил голову, помолчал и, перебирая почти машинально бумаги на столе, тихо, печально подтвердил:

— Не отдам.

А в ворохе бумаг была,— я уже видел ее,— та, в которой он завещал похоронить себя не в Москве, а в Чайковском, поближе к картинной галерее...

Уходя от него, я мучился двумя сомнениями; первое касалось истории его уникальной коллекции (как удалось собрать четыре тысячи ценных полотен?!), второе же сомнение имело отношение к мотивам (самым потаенным) передачи этой галереи городу. Мелькавшие в местных газетах слова «щедрость», «зов сердца», «патриотический шаг», более или менее точно характеризуя социальную или нравственную суть действия, не объясняли его истоков.

Идя к нему второй раз, я понимал, что, вероятно, он опять будет весьма немногословен, и решал поэтому, чем бы мне сегодня сосредоточенно заняться в его доме: стенами (то есть картинами) или столом (то есть документами, статьями, вырезками из газет и так далее). Разумеется, ни стол, ни стены сами по себе не могли ответить на мои вопросы-сомнения. Они, несомненно, содержали подсказки к постижению его характера и его судьбы, а ведь постигнуть судьбу и характер этого человека и означало разобраться в истории его коллекции и в истории его дара. И тут я подумал о семейном фотоальбоме, мне захотелось увидеть его не восьмидесятишестилетнего, нахохлившегося, молчащего с загадочно-ироничным лицом, а мальчишкой на излете уже ставшего баснословным XIX века, юношей на заре двадцатого, студентом, инженером-путейцем (я, разумеется, был уже достаточно хорошо осведомлен о вехах его жизни), мне захотелось увидеть его студийцем, учеником большого художника Архипова, увидеть художником, исследующим натуру, и фанатическим коллекционером. Мне захотелось увидеть девочку, его дочь, которая стала потом искусствоведом и уже, кажется, на пенсии, увидеть (именно увидеть!) то давнее, полуле-

гендарное, из чего состояла его жизнь, из чего состоит жизнь любого старого человека.

Он ничуть не удивился моему желанию познакомиться с семейным фотоальбомом, будто бы ожидал даже, что я попрошу его сегодня именно об этом. С удивившей меня легкостью, он наклонился и достал из нижнего отделения шкафа что-то музейно-тяжкое, будто кованое, живописное, бережно поднял темную крышку...

Сегодня мы фотографируемся чисто утилитарно; на удостоверения, в «личное дело» или — самый душевный повод — для холодновато-шутливого послания товарищу юношеских лет, с которым, за изобилием неотложных дел, не виделись последние четверть века ни разу. Ушли из быта фотоальбомы, которые рассматривались любовно по вечерам,— они помогали что-то опять пережить, оживить, понять или искупить, ушли из быта те самые альбомы, которыми иногда развлекали гостей, но чаще утоляли неосознанную жажду наивного самопознания. Эти альбомы заменены в сегодняшней жизни иллюстрированными изданиями и экранами телевизоров.

Жигалко поднял темную крышку-переплет, и я увидел большую, в бедных нарядах, застывшую торжественно, с пониманием величия минуты семью: мужчину с лицом рабочего-интеллигента, женщину, с почтительной радостью замершую перед фотообъективом, и посреди малышей тонкого, как лоза, мальчика в форме реального училища. Хотя внуки и бывают часто похожи в детстве на дедов, но сам человек настолько телесно перестраивается с десятилетиями, что в размытом потоком дней восьмидесятилетнем лице ничего не остается обычно от изящной четкости отрочества. (Это поражало рисовавших себя в течение долгой жизни художников, особенно, конечно, Рембрандта.) Я поднял голову и вздрогнул от открытия, что тут время, несмотря на мо-

гучее усердие, не размыло. Я опять наклонился к альбому и долго не закрывал первого листа, чувствуя, что и старик, и мальчик над моей головой поглощены узнаванием.

Потом я листал быстро, нетерпеливо, не скрывая любопытства: я видел юных инженеров-путейцев у самоварно-гротесковых паровозов и женщин, напоминавших забытое немое кино, с утрированно печальными, «роковыми» лицами, и совершенно новые лица, рожденные революцией, видел совещания, стройки, я видел Жигалко на берегу моря с семьей и одного в кабинете (в двадцатых — тридцатых годах любили фотографироваться в кабинетах), волевого, исполненного телесных и душевных сил человека, который не чертами и обликом, а чем-то внутренним, потаенным отстоял гораздо дальше от сегодняшнего восьмидесятилетнего Жигалко, чем тот мальчик. И когда я опустил последний лист альбома, то с удивлением подумал, что в нем начисто отсутствует Жигалко-художник и Жигалко-коллекционер. То, что составляло, казалось бы, само существо его жизни, сюда не вошло. А может быть, собирательство и художество были не сутью, а увлечением, отдыхом, хобби, как теперь говорят. Он тянул полотна дорог, строил мосты, чертил, рассчитывал... Точно подтверждая это, Жигалко начал рассказывать о давнем, паровозном, инженерном, и рассказывать с тем увлечением, которое не чувствовалось у него, когда речь шла в тот раз о картинах. Может быть, подумал я, не чувствовалось потому, что теперь он был откровеннее, чем тогда?

Мне показалось, что он нарочно уводит меня от сути моего интереса к нему, от существа моих сомнений, потому что эта — в фотоальбоме — область его жизни обладает цельностью и ясностью, которых нет в той, занимающей меня несравненно больше. Пока он рассказывал о стройках и дорогах, я опять перебирал бумаги на сто-

ле, их кажется и не убирали. Некоторые из них я начал читать; одно, незамеченное мной в тот раз письмо, я дочитал до последней строки. «Уважаемые товарищи,— писал Жигалко,— когда я работал в НКПС в двадцатых годах, тогда уже поднимался вопрос о реконструкции нынешней вокзальной площади. Была организована комиссия из работников города и наркомата. На одном из заседаний я был от НКПС. Был высказан, а затем документально зафиксирован ряд существенных соображений по разгрузке этой части Москвы...» Дальше шли сами меры и заключительная строка: «Думаю, что в архиве МПС вы найдете подробные сообщения и данные».

— Что это, Александр Семенович, за письмо?

— Заболел вот и не послал вовремя,— опечалился он,— потом, помолчав, подумав о чем-то, объяснил: — В «Вечерней Москве» известие было о том, что начала работать комиссия по реконструкции Комсомольской площади, я и решил написать туда. Мы ведь в двадцатых уже об этом думали... В архивах, наверное, осталось? Резонные были у нас соображения... Стоило бы, наверное, вернуться к ним... Понимаете,— он выхватил из вороха чистый лист, быстро нашарил карандаш и начал чертить.— Вот эти подземные переходы...

Я ощутил остро его искренность, меня удивило, даже ударило не то, что он не забыл о небольшом техническом решении полувековой давности и хочет сейчас его отдать, подарить, а вот эта его печаль, что из-за нездоровья, из-за того, что не ушло вовремя письмо, в тех бездонных министерских архивах что-то бесплодно истлеет...

В тот день мы не говорили ни о Чайковском, ни о его даре, но когда я уходил, он опять наклонился, порылся в потаенной части шкафа и вытащил оттуда дощечку: пейзаж — весеннюю березу, облака.

— Один из самых моих первых,— улыбнулся,— две-

надцати лет писал это, или даже десяти, уж не помню точно. Тоже мое,— показал на пейзаж рядом с эскизом Репина,— и вот...— Помолчал и, погладив переплет альбома, тихо закончил,— строил, писал...

Он замолчал и я довершил:

— Строили, писали и собирали картины...

— Собирал? — резко посерьезнел он.— Да. Это было, как болезнь.

— Болезнь? — удивился я.

Он утвердительно наклонил голову.

Конечно, я понимал, что собирательство занимало в его судьбе несравненно большее место, чем виделось это ему сейчас, в сегодняшнем нашем общении над семейным фотоальбомом, но было ясно мне и то, что он не лукавил: ведь ландшафт жизни, как и ландшафт местности, может выглядеть по-разному, в зависимости от точки зрения. При сегодняшней точке зрения собирательство отдалилось, и это, я догадывался, объяснялось не возрастом его, когда страсти уже угасают (коллекционерство — единственная, может быть, страсть, увеличивающаяся с годами, становящаяся иногда совершенно нестерпимой, переходящая в старости в подлинное сумасшествие, в клиническое безумие), нет, тут было что-то иное, изменилась, видимо, сама структура души, и это несомненно имело самое непосредственное отношение к тем двум моим первоначальным вопросам-сомнениям — к истории коллекции и к истории дара. Я называю мучившие меня мысли сомнениями, потому что с самого начала не верил не то что в абсолютную чистоту — нравственную — первой и второй истории, нет, подобных сомнений я старался себе не позволять, но я не верил в легкость, в отдающую восторженной репортерской строкой возвышенность мотивов действия, когда человек отрывает от себя самое дорогое, чему посвящалась жизнь. Философы давно поняли, что победа

над собой — самая трудная из побед... Это драма, в которой судья и подсудимый выступают в одном лице.

Мои сомнения оставались неразрешенными, но начали вырисовываться характер и судьба Жигалко, и в этом было обещание ответов.

Да извинят меня честные собиратели, которых большинство, но «лучшее» время для коллекционера — время больших социальных потрясений, войн, разрух, когда вещи резко, парадоксально меняют цену: море Айвазовского стоит дешевле ржаного ломтя, а солнце Италии на картинах Брюллова — глотка молока... К честным коллекционерам, подобным Жигалко, это, повторяю, не имеет непосредственного отношения, но бывает, что по странной воле судеб и у них потом оседают эти отмеченные человеческим горем ценности, миновав ряд нечестных рук...

Да, собирательство картин было господствующей в его жизни страстью. С того самого часа, когда он, побуждаемый естественной любовью к живописи (не только студент-путеец, но и юный художник), купил в лавке на Кузнецком мосту за бесценок картину, оказавшуюся эскизом Репина, беспокойство души, ревность, жажда обладания, которыми были отмечены во все века все коллекционеры, стали его обычными состояниями.

В то далекое первое десятилетие века на развалах бойко шла дешевая распродажа картин, и юный Жигалко рылся, рылся, покупал на последние деньги, ограничивая себя в одежде и даже в еде. Чутье художника и интуиция коллекционера, становившаяся все более тонкой и безошибочной с годами, сообщали его выбору изумительную точность. Он уносил самое ценное,— неказистая с виду, захватанная руками, покрытая пылью

дощечка или порванный холст оказывались этюдами Репина, Левитана, Поленова... Он подружился с хозяевами развалов, с коллекционерами, подружился с талантливыми молодыми художниками, дарил им собственные работы, и они тоже в ответ дарили (многое из того, что тогда подарили они, потом, через десятилетия, вызывало зависть у музеев).

К середине 20-х годов Жигалко обладал одной из интереснейших в нашей стране коллекций. Полотна с почетным титлом «из личного собрания А. С. Жигалко» участвовали в союзных выставках, посвященных Репину, Айвазовскому, Левитану — честь для коллекционера большая. (Если бы Жигалко тогда же отдал собрание картин народу, государству, то, разумеется, он стал бы героем не этой главы, где речь идет о сложных человеческих судьбах, о тяжком пути к истине, а глав последующих, в которых рассказывается, как и в начале настоящего повествования, о людях целеустремленной щедрости.)

Одна из трех комнат его квартиры в старом московском доме была вся заполнена полотнами; они лежали, и надо было поддерживать определенную температуру, ухаживать за ними. А страсть коллекционера — одна из самых мощных и загадочных человеческих страстей, не только не остывала, но делалась более мучительной.

И тут началась реконструкция Москвы. Жигалко лазил по развалинам, по чердакам обреченных на слом домов и находил в тяжкой рухляди то, что может понять и оценить лишь опытный коллекционер. Это было хорошее для его коллекции время; комната стала похожа на запасник большого музея. Стояли, лежали, теснились полотна, точно ждали чего-то. Чего?

А Жигалко тащил и тащил сюда новое, бесценное, и уже тяжело ему стало совмещать работу инженера в НКПС с коллекционерством и уходом за картинами, и он пошел в школу учителем рисования и был, видимо, отличным учителем, сам художник, некогда близкий к Архипову.

Коллекция Жигалко состояла из четырех тысяч полотен... Это было его сокровище, смысл и дело его жизни. Четыре тысячи полотен в его доме — его радость, его страсть, его собственность. Он заглядывал сюда то и дело, часто ночами, вытаскивал то или иное, отвечающее его воспоминаниям, душевному состоянию, мыслям,— рассматривал и точно бы осязал ткань собственной жизни. Однажды его поразила мысль, что жизнь, казавшаяся такой разнообразной, исполненной поисков, новизны, волнений, в которой были и стройки, и любовь, и выезды весной на «натуру»,— эта с дорогами, ручьями, лесами, запахом угля и сена жизнь уместилась в одну небольшую комнату в старом обветшавшем доме. Мир съежился. И в съежившемся мире вызревал постепенно вопрос: зачем, во имя чего жил?

И стало сильнее и сильнее тянуть его в город, где он родился, бегал мальчишкой в реальное, где фотограф торжественно запечатлел на самой заре века большую рабочую семью, положив начало семейному альбому. В этом городе был хороший музей, и Жигалко написал туда, что хочет передать собранные в течение десятилетий картины, с тем чтобы ему оставаться рядом при этих бесконечно дорогих ему полотнах до конца дней... Письмо это вызвало восторг, потому что в музее достаточно хорошо была известна ценность коллекции Жигалко. К нему тотчас же выехал сотрудник, который в ознаменование завязавшихся между двумя сторонами добрых отношений отобрал несколько полотен, наиболее замечательных; уехал с ними и написал ему потом, что

они уже выставлены, и музейные работники так же, как и посетители, восторгаются широтой его души. А он ждал, потому что хотел передать не несколько полотен, а коллекцию полностью, ибо была она для него чем-то неразрушимо цельным, и передать ее с самим собой, ибо себя не мог он от этой коллекции отделить. Шли месяцы; музей молчал. Жигалко написал опять, ему ответили уже суше, без тени былой восторженности, чтобы он набрался терпения, потому что организационно решить его дело нелегко. Потом сообщили, что это и вовсе не удается, и поэтому от его дара вынуждены отказаться. Картины честно вернули, хотя и не полностью, что-то оставили у себя. Жигалко не возражал, ведь это был город его детства.

Теперь его мысли были заняты одним: найти город, которому можно было бы передать коллекцию хотя бы и без себя, но полностью и непременно для *постоянной* экспозиции,— ему показалось что он действительно был нескромен, навязывая к бесценным полотнам собственную персону, в силу весьма пожилого возраста достаточно обременительную.

И он начал думать, советоваться, искать. Жигалко понимал: это должен быть молодой город, город с большим будущим, чья судьба лишь начинает складываться. В этой судьбе его галерея (а он мечтал теперь именно о галерее) может стать особым событием (как Третьяковка, думалось порой нескромно, в судьбе Москвы). После долгих раздумий выбрал Жигалко новосибирский Академгородок: он начитался о культурной жизни этого новорожденного центра науки, о спорах «физиков» и «лириков», о вернисажах в Доме ученых, о посвященных искусству диспутах в кафе «Под интегралом» и решил, что лучшего места на земле для новой картинной галереи, конечно, не найти! Он написал в Новосибирск, что хочет подарить молодому городу науки две тысячи цен-

ных картин русских и советских художников. Ответ был получен немедленно: высылайте!

Александр Семенович погрузил картины в контейнеры (заплатил по тридцать девять рублей за контейнер) и отправил в Новосибирск.

Руководство Сибирского отделения Академии наук от имени общественности выразило «глубокую благодарность инженеру Александру Семеновичу Жигалко (я цитирую совершенно официальный документ) за его бескорыстный дар — собрание картин русских художников XVIII—XIX и XX веков. Его коллекция работ русских художников,— писалось в этом документе,— легла в основу картинной галереи СО АН СССР и служит делу духовного обогащения людей. Она дает возможность тысячам сибиряков и гостям Академгородка приобщиться к благородному и прекрасному искусству русских мастеров кисти».

Сообщения о «патриотическом шаге» Жигалко появились в местной печати. А когда в Доме ученых открылась выставка части подаренных Александром Семеновичем картин, газета «Вечерний Новосибирск» поместила большой фоторепортаж с фотографиями, где мелькали в восторженном тексте имена Кипренского, Сурикова, Коровина... Заканчивался репортаж «Подарок любителям живописи» строкой о том, что решено создать «в научном городке постоянную картинную галерею». Жигалко, разумеется, был на открытии выставки, да и сама экспозиция составлялась при его деятельном участии. И хотя это была только выставка, а не картинная галерея, ему казалось, что великий замысел исполнился. Он помолодел, носился с утра до вечера по залам, изучал освещение, перемещал картины, наблюдал радостно за посетителями, обдумывал оптимальные варианты соседства различных полотен. Он переживал великие дни; видные, известные стране и миру ученые, сами коллек-

ционеры, подолгу беседовали с ним; он взволнованно обсуждал возможное авторство анонимных картин и старался не думать о том, что долгие десятилетия то, что сейчас его окружает, покоилось в тесно набитой комнате...

Потом он уехал — дома оставались тоже две тысячи, надо было решить их судьбу. Он уехал с уверенностью, что половина коллекции устроена надежно, ничего, что пока в Доме ученых выставлена лишь часть ее, рождение галереи — дело не одного дня, нужна серьезная оргработа, надо набраться терпения...

А через некоторое время он получил из Новосибирска от любителя живописи, с которым успел подружиться, опечалившее его письмо. Картины со стен сняли. Он написал, ему ответили, чтобы не волновался, картины опять вернут. А местные печать и радио замолчали, и никто не заговаривал больше о постоянно действующей картинной галерее. Жигалко, теряя терпение (особенно возмутило его известие, что картины лежат на железнодорожном складе), послал резкое письмо, его уведомили холодно и четко, что картины помещены теперь в запасники библиотеки Дома ученых. А в этих запасниках Жигалко бывал тогда, в незабываемые дни торжеств,— там душно, для картин нехорошо. «Да,— думал он вечерами,— выставка — это мимолетная радость, однодневное торжество, а картинная галерея — будни, штаты, сметы, реконструкции, ремонты. А у них наука, большие дела, до меня ли...»

То, что он испытывал тогда, точнее назвать печалью, чем обидой. Порой он даже осуждал себя за то, что оторвал и отрывает людей, поглощенных, видимо, неотложными делами, на заботы о его картинах, возможную роль которых в судьбе города науки он нескромно переоценил...

А дома лежала половина коллекции. Две тысячи

осели в запасниках библиотеки, две тысячи остались в той самой комнате, которая точно заколдовала эти полотна, не давая им выйти навсегда к людям.

И тут Жигалкс в состоянии духа, как думается мне, несколько раздражительном — более на себя самого,— утратив надежду на рождение постоянной галереи, сохраняющей навечно в чудесной цельности собранные им сокровища, начал раздаривать полотна. Несколько этюдов Левитана он подарил Дому-музею П. И. Чайковского в Клину. И волей судьбы этот нечаянный подарок решил участь его сокровища. Одна из сотрудниц дома-музея, будучи на родине композитора, рассказала в молодом городе Чайковском о том, что живет в Москве старый-старый коллекционер, который хочет подарить великолепное собрание картин и не может найти кому... Люди, которым сотрудница об этом рассказала, разумеется, не поверили (да я и сам бы, услышав, не поверил), подумали: «легенда»; и вот пошла легенда гулять по городу, дошла до горкома партии и горисполкома; и вызвали туда директора малюсенького местного краеведческого музея Николая Петровича Кузьмина, попросили его написать в Москву Жигалко, а если надо, то и поехать к нему.

А когда в Чайковском удостоверились, что за легендой стоит реальность — четыре тысячи полотен, местная общественность повела дело настолько целеустремленно и энергично, что теперь уже не Жигалко наступал, а его самого осаждали: «Берем, устроим музей, это — наше, наше!» Сообщения сыпались на него без перерыва: нашли двести сорок квадратных метров... решили мало... нашли девятьсот квадратных метров, началась реконструкция... строителей выделил воткинскгесстрой... текстильный комбинат готовит портьеры... весь город строит музей!

И в этих сообщениях не было восторженного пусто-

словия: город действительно строил, точнее, перестраивал старый дом, создавая «нашу Третьяковку». Новую картинную галерею Чайковский открыл в день рождения Александра Семеновича Жигалко — ему исполнилось восемьдесят четыре года. Его поздравили пятьдесят тысяч человек. День его рождения отпраздновал город.

Было это в феврале; в залах «местной Третьяковки» выставили две тысячи полотен. Остальные две тысячи оставались в Новосибирске. Александр Семенович собрал душевные силы и написал в Академгородок письмо о расторжении дарственной, ибо не выполнено основное ее условие: «показ картин народу». В этом письме он сообщил о рождении постоянной галереи в Чайковском... «Мое сокровище нашло родной дом». В июле Жигалко получил ответ: «Мы готовы вернуть Вам Ваш дар».

Брюллов, Репин, Левитан поехали в последний раз — из Новосибирска в Чайковский.

И опять я сижу в его комнате (он переехал недавно в новый дом, тот, где хранились десятилетия четыре тысячи полотен, пошел на слом), сижу за столом, заваленном бумагами, по-прежнему листаю их, перечитываю.

Александру Семеновичу все еще нездоровится, изредка обмениваемся замечаниями, а больше думаем. Я думаю о том, что Жигалко совершил удивительное, завершившее собой его жизненный путь, путь к истине. Уже на излете жизни он осуществил ту великую переоценку ценностей, которая сообщила его бытию высший смысл. Все помыслы его сейчас в Чайковском. О былых мытарствах он говорит полушутливо:

— Нетерпелив я был. Надо было подождать, попросить, поклониться, задобрить, а я резкие письма писал.

— Задобрить? — удивляюсь.— Ведь вы же дарите?

— Ну и что ж что дарю. Бывают подарки и обременительные.

— Но вот же Чайковский не нужно было задабривать.

— Чайковский,— улыбается,— чудо.

Я опять листаю письма из Чайковского, в которых содержатся старательно переписанные строки из книги отзывов.

«Рабочие Ижевского металлургического завода благодарят Александра Семеновича за чувство возвышенного, которое его картины дарят каждому».

В разговоре со мной один из коллекционеров назвал Жигалко Дон-Кихотом. В душевном «зерне» и внешнем облике его действительно есть что-то подкупающе-явственное от «рыцаря печального образа». (В несоизмеримо большей степени, чем в Гаврилове, который похож на героя Сервантеса только «безумной дерзновенностью».) Жигалко сухопар, высок, часто поверх собеседника рассматривает что-то видимое ему одному, его медлительность, даже некоторая заторможенность порой резко обламывается порывистым жестом, быстрым ритмом речи, как у человека, который, мешкая перед дорогой, решившись наконец, не идет, а бежит по ней.

Я опять оглядываю стены его комнаты, на которых висит то *неотрывное,* что он себе из четырех тысяч оставил. И угадав мои мысли, Жигалко говорит:

— А Николая Петровича Кузьмина вы не осуждайте за то, что он в том письме потребовал это, последнее... Он удивительный человек, ему сесть в поезд...— и понизив голос,— я беспокоюсь, уж не собственные ли деньги он мне посылает, ведь получаю из Чайковского почти ежемесячно шестьдесят.

Пенсия А. С. Жигалко — шестьдесят два рубля десять копеек.

Те два из неотрывных полотен (Серов, Боровиковский), что сунул он Кузьмину в последний раз,— думал я,— чем-то по самой сути действия родственны письму в МПС с мыслями сорокалетней давности, которые могут сегодня послужить людям.

Страсть собирать уступила в этой жизни иной, высокой страсти — отдавать.

Наступило ясное понимание того, что собирательство без венчающего действия — *от себя* — бессмысленно. И в этом урок жизни, о которой я пишу. Наверное, высокое желание отдавать нельзя называть страстью именно в силу этого высокого понимания, ибо давным-давно было отмечено, что страсть — стремление, не повинующееся разуму; потребность же одарить мир и людей — глубоко разумна, ее питает мудрая мысль об единстве «общины» и личности, человека и мироздания.

Петрарка писал в одном из сонетов о горечи «позднего меда»; это относится не только к любви, но и к меду поздней мудрости. И не от этой ли горечи та самая ирония, которая была не полностью понята мной, но явственно ощутима в первой беседе с Жигалко. Почувствовав однажды иронию жизни, он, несравненно поумнев, сумел обратить ее на себя.

Но мудрость остается мудростью, и она говорит устами Жигалко: «Собирательство без дара — болезнь».

Особенность этого характера и этой судьбы в том, что его дар людям оказался и выявлением собственного дара; — человек понял, что, «зарывая в землю» картины, он, в сущности, зарывал и себя, зарывал талант.

Не сомневаюсь, что Александр Семенович удивился бы совершенно искренне, если бы я в тех немногословных диалогах с ним назвал его «государственным человеком». Но эта точная и строгая формула рядом с его именем ничуть не удивит жителей Чайковского: для них

он, человек, подаривший их городу картинную галерею, именно государственный человек, гражданин.

В его непростой судьбе мы тоже находим подтверждение живого сегодняшнего родства этих рожденных в различные эпохи определений: «рыцарь» и «государственный человек».

Рыцарями не только «рождаются» (Гаврилов), но и «делаются» (Жигалко).

И тут я хочу раскрыть читателю небольшой секрет, имеющий непосредственное отношение к творческой лаборатории автора настоящего повествования. Книга «Бескорыстие» была уже закончена, когда я, перечитав ее, ощутил потребность написать эту главу о пути к истине, к рыцарству. Мне показалось, что читатели, возможно, подумают: рыцарями только рождаются и быть ими в силу этого полученного от рождения таланта, несмотря ни на что, легко и радостно; подумают, что бескорыстие не требует напряженной, порой мучительной душевной работы, нравственного выбора, борьбы с сомнениями, малодушием, страстями...

Подобное восприятие книги бесспорно понизило бы ее педагогическую ценность. Вот я и решил написать эту главу. Бескорыстие — любое — даже у тех, кто одарен щедростью сердца с детства, сопряжено с работой души, с умением ощутить, понять в системе жизненных ценностей самое существенное. И когда работа эта ослабевает, то и люди, даже, казалось бы, добрые, широкие, меркнут, тускнеют, мельчают.

Разумеется, человек может — мы наблюдаем это в жизни то и дело — совершить бескорыстно нечто великолепное чисто импульсивно, повинуясь бессознательно сильному удару сердца. Но если это не один «удар», а логика и линия жизни, обыденный стиль существования, будни, то тут без труда души ничего не получится. «Не

позволяй душе лениться! — писал замечательный советский поэт Николай Заболоцкий,— Чтоб в ступе воду не толочь, Душа обязана трудиться И день и ночь, и день и ночь». И дальше,— о ней же, о человеческой душе: «А ты хватай ее за плечи, учи и мучай дотемна...»

Иначе... Ведь возможен еще один тип рыцаря,— помните у Пушкина? — Скупого Рыцаря.

Что же такое Скупой Рыцарь сегодня?

Владимир Николаевич, маститый столичный архитектор, был нездоров и давал мне интервью у себя дома. Кратко и точно, пожалуй, даже суховато рассказывал он о новом городе, который будет построен на берегах тихой реки в глубине России.

Я слушал Владимира Николаевича и старался увидеть этот город хотя бы туманно, в общих чертах, как видишь на рассвете из самолета, косо идущего на посадку. Но мне мешал стиль рассказа моего собеседника: об архитектуре он говорил мало, сосредоточенно излагая технические вопросы — водоснабжения, организации транспорта, инженерной подготовки территории. Лицо его было бесстрастно, руки безукоризненно точны — он, не глядя, находил нужный лист в ворохе чертежей, голос негромок, чуть монотонен. Один раз он все же улыбнулся, когда я попросил его подробнее рассказать об архитектурном облике города,— терпеливо и понимающе, как улыбаются детям. Ответил: «Дома типовые, пятиэтажные, самые экономичные, планировка по возможности современная»,— и дотронулся пальцами до горла, напоминая, что нездоров и что интервью затянулось.

Я невольно подумал, что города, которые строит этот человек, должны быть так же скучны, как и он сам. И в

ту же минуту передо мной возникло видение южного театра, нарядного, с колоннадой и лестницей к морю. Он был построен Владимиром Николаевичем в молодости, до войны...

Точности ради надо отметить, что город, о котором он рассказывал мне сейчас, был первой самостоятельной работой трех молодых архитекторов из руководимой им мастерской; было бы, пожалуй, естественней беседовать об этом именно с ними. Но институт разрешал давать интервью только руководителю.

Мы беседовали в домашнем кабинете, похожем на библиотеку. Уходя, я еще раз завистливо оглядел сотни томов на хорошо отполированных полках. И только сейчас заметил на фоне старинных переплетов пожелтелый от времени кусок ватмана с вежливым напоминанием, выведенным тушью: «Хозяин гостям, даже почетным, книг не одалживает». Владимир Николаевич усмехнулся, иронически пожимая плечами:

— Не удивляйтесь! У меня одна из лучших библиотек по архитектуре, есть редкие вещи.— И достал с верхней полки книжку в твердом коричневом переплете.— Уникальное издание Альберти.— Он бережно раскрыл ее, и я услышал сладостный для книголюбов запах истлевающей бумаги. Лицо его стало добрее, пальцы, как мне показалось, слегка дрожали.

Уйдя от архитектора, я унес с собой живой, волнующий воображение образ библиотеки, полной редких сокровищ. Но не унес живого образа города, о котором должен был писать. И не написал о нем ни строки. Недели через три Владимир Николаевич позвонил в редакцию.

— Кажется, наша беседа не появилась в печати?

— По не зависящим от автора обстоятельствам...— ответил я неопределенно.

— И отлично,— сказал он.— Теперь не надо печа-

тать. Работу будет дня через три обсуждать архитектурный совет. И настроен он, кажется, весьма воинственно.

Перед началом заседания архитектурного совета в сутолоке и шуме маленького фойе Владимир Николаевич познакомил меня с полным розовощеким молодым человеком — Олегом, одним из трех авторов поставленной сегодня на обсуждение работы.

Трусил Олег ужасно. Он жалко улыбался и не отходил ни на шаг от Владимира Николаевича. Двое его соавторов были далеко, они жили в легких палатках на месте будущего города — завидная доля!..

Потом он стоял на маленьком возвышении, один, лицом к лицу с архитектурным советом, и повторял почти фраза в фразу то, что я уже слышал от Владимира Николаевича. Сел он с пылающим растерянным лицом, такой мокрый, будто бы побывал под ливнем. Ему я сочувствовал горячо, а вот город с его неотличимыми друг от друга, точно монеты одинаковой чеканки, микрорайонами монотонной пятиэтажной застройки, как и раньше, не вызвал во мне живого чувства.

Когда первый оратор, говоря об успешном экономическом решении задачи при убожестве эстетики, упомянул имена Олега и его товарищей, Владимир Николаевич уверенно поднялся — высокий, угловатый, похожий на великолепно вычерченную геометрическую фигуру — и, точным жестом попросив слова, заявил:

— Разбирая сильные и слабые стороны этой работы, лучше называть первой мою фамилию, как руководителя мастерской.

— Рыцарь...— шепотом сказал кто-то за моей спиной. И еще тише, как бы про себя, уточнил: — Пушкинский рыцарь...

В ту минуту я не понял этих слов.

А оратор между тем уже совершенно откровенно говорил, что лично он ни за что не согласился бы жить в

этом городе, душа завянет от однообразия архитектурного ландшафта!

Совет дал невысокую оценку работе...

На улице Владимир Николаевич окликнул меня. Я оглянулся. Он шел рядом с Олегом.

Омытые дождем фонари горели туманно. Мы молча шагали по мокрому асфальту — лаково-черному, с желтыми мерцающими пятнами. Вышли на набережную. Высокая черная вода, как хорошо отполированный гранит, отражала огни города. Мы остановились у парапета, слушая тихий плеск.

— Люблю набережные...— нарушил молчание Владимир Николаевич.— С детства люблю. Шатался по ним до упаду... Мечтал застроить Москву-реку старинными теремами из русских сказок.

Олег, казалось, не слушал. Он полулежал на парапете, неуклюже раскинув локти, беспомощный, похожий на обиженного мальчишку.

Владимир Николаевич тряхнул седеющей головой, насмешливо улыбнулся.

— А не научились мы с тех пор застраивать набережные, нет! Эта вода, и солнце в ней или вечерние огни, и темный гранит могут, как алмаз, еще ярче засверкать в хорошей оправе. Хочется, чтобы силуэт над рекой был немного фантастический!.. И надо раскрывать набережные, создавая перспективу со стороны параллельных улиц. А то вот эта — вроде как вещь в себе, закрыта...

— Все это, видимо, учтут в городе будущего,— заметил я, боясь, что оживление его вот-вот схлынет.

Владимир Николаевич пожал плечами:

— Что вам известно об этом городе, товарищ писатель? — И коснулся пальцами моей руки: — Хотите, я поведу вас в него? А? Давайте только договоримся, когда мы войдем в этот город — зимой, летом или осенью?

Важно не только это. Утром, вечером или днем? Солнечный будет день или туманный? Помните у поэта: «ряд волшебных изменений милого лица». Это можно отнести и к городу. Он дышит, живет и, как все живое, меняется от облаков, снега, тумана... Войдем в этот город рано вечером, в начале осени. Еще не зажглись огни, и все освещено золотом садов. Вернее, весь город — сад, потому что в нем нет сегодняшних улиц, унылых, как оглобли. Дома стоят свободно среди деревьев и не похожи друг на друга ни фасадами, ни высотой, как не похожи деревья различных пород — береза на ель, а сосна на тополь. Я люблю красоту смешанного леса за разнообразие впечатлений и единство образа,— он улыбнулся и плавно поднял руку.— Город смутно ширится над садами, растет к небу. Фасады с окнами — полнеба каждое — одеты в белый с отливом в золото или старинное серебро искусственный материал. Они горят на солнце, сияют в лунные ночи. А рано вечером осенью, излучают тихий блеск, и дома кажутся засыпанными с головой золотом листьев. И вот мы выходим на центральную магистраль — к шуму толпы, музыке, автомобилям... Архитектура ее построена на контрастах. Башни касаются облаков, а рядом низкие залы обнимают землю. Когда загорятся огни, силуэт города напомнит горы. И еще ближе к образу гор он будет на рассвете. И даже в резком свете дня он сказочен. Подумайте, что делает архитектурный силуэт увлекательным? Да, неожиданность! Человек идет по улице, и вдруг перед ним открывается вид на набережную с блеском воды или...

Он умолк почти на полуслове. Я понял, в чем дело, лишь тогда, когда посмотрел на Олега. Молодой архитектор вглядывался во Владимира Николаевича, изумленно наморщив лоб, полуоткрыв пухлые губы, точно перед ним стоял совершенно незнакомый, безумно интересный человек, который вот-вот исчезнет.

— А вы, оказывается, поэт,— выдохнул он наконец.

— После неудачи позволительно чуть-чуть пофантазировать,— усмехнулся Владимир Николаевич.

— Нет! Вы поэт,— повторил Олег как-то испуганно-восхищенно.— А мы-то думали...

— Полно, пойдем,— небрежно уронил Владимир Николаевич.

И мы пошли к мосту. Москва сияла туманно и радужно. Волшебство вечера грубо нарушили три серых, безликих дома; на минуту они заслонили разлив огней города, накрыли тенью воду реки.

— Мы думали, вы сухой, точный, как логарифмическая линейка,— печально сказал Олег.— Боялись идти к вам с фантазиями, шли только с расчетами.

— Игрой воображения не утолить потребности в жилье, Олег,— мягко сказал Владимир Николаевич.— Сейчас нужны метры, метры... Черный хлеб! А тесто для более тонких изделий лучше пока месить в нерабочем порядке...

— Это что же получается? — голос Олега дрогнул.— Современникам — черняшку, а потомкам — эклер с заварным кремом?

— Не бойтесь, милый,— улыбнулся Владимир Николаевич.— Мы с вами успеем и для современников хорошо поработать!

— Я-то ничего...— возразил Олег.— А вот вы не боитесь, что мы сегодня чуть было не убили ваш новый город? Чем? А нашей работой, которую отвергли. Ведь если ее, сказку вашу, окружить подобными городами, она тоже будет вещью в себе, вроде этой набережной, вроде...— Он помолчал, подумал и, начисто утратив сходство с обиженным мальчишкой, по-мужски горько сознался: — Я в юности писал стихи. Но не показывал их никому, потому что стыдился, а не оттого, что хотел лучшее при себе оставить...

— Я устал,— насмешливо-спокойно сказал Владимир Николаевич и вежливо улыбнулся.— До свидания.— И зашагал к лестнице, ведущей на мост. Он шел по ней медленно, точно нехотя.

Боковые гранитные лестницы московских мостов сурово живописны. На них вечерами лежат странные тени, камень кажется древним, тысячелетним. Владимир Николаевич в самом деле был похож на Скупого рыцаря, который поднимается из подвала, от ослепительных груд мертвого золота к заботам обыденной жизни. Когда я оглянулся, Олега рядом уже не было.

В последний раз я видел Владимира Николаевича на выставке цейлонского искусства. Подолгу, с видимой радостью рассматривал он работы мастеров далекой страны; однажды даже рассмеялся, удивленно, легко. И я подумал: «Вот эти радостные впечатления, которые сейчас дарит ему жизнь, сумеет ли он вернуть их жизни или они истлеют в нем, как редкие книги на полках его библиотеки?»

Будет ли и в его судьбе дар? Выйдет ли он к людям, к «философскому образу жизни»? Построит ли не в фантазии, а в действительности тот город? Для этого ему надо нечто построить в себе самом — новое понимание мира.

Подлинное рыцарство несовместно со скупостью — любой. Путь его в непрерывном «труде души» — через тернии к звездам.

Сейчас на «подмостки» повествования выйдут опять люди цельной судьбы, чье бескорыстие, казалось бы, не сопряжено ни с какой «работой души». И действительно, бескорыстие — радость. Именно поэтому мы и не замечаем «усилий духа», как не думаем об усилиях кисти перед картиной большого художника.

Но и за самым естественным, «легким», самым красивым деянием скрыт труд души, которой не позволено лениться...



Чудо жизни

Видел ли когда-нибудь Ясик, как искрятся и мерцают звезды?

Ф. Э. Дзержинский

Московский зоопарк расположен по соседству с планетарием. Неширокая дорожка выводит на мощенный красноватым красивым камнем четырехугольник — в середине его стоит стариннейший астрономический инструмент — гномон: для ориентировки по странам света. Когда ветер с зоопарка, сюда доносится запах

хищников, и можно вообразить себя на минуту первыми астрономами-пастухами, которые тысячелетия назад ловили гномоном в диких долинах лучи солнца, не забывая об опасностях окружающего земного мира.

Не думаю, чтобы это соседство — зоопарка и планетария — несло в себе с самого начала какой-то определенный смысл, было задумано заранее. Смысл в этом соседстве увидели уже потом. С особой явственностью его увидел Сергей Кузьмич Савин.

По воскресеньям Савин с сыном едут из Люберец в Москву. Это их большой день. В зоопарк они ходят так же, как истинные любители живописи в Третьяковку или Эрмитаж: только к Рублеву или только к Рембрандту. А Савин с сыном — только к птицам или к оленям, только к рыбам... Разумеется, не удержишься, посмотришь на обезьян и на бегемота, выходящего из воды...

Иногда Савин рассказывает сыну о птицах, которых нет в парке, а быть может, и вообще уже нет на земле.

Савина волнуют мысли об исчезающих породах птиц и животных: ушли из жизни странствующий голубь и бескрылая гагарка, стали заповедной редкостью индийские носороги, горные зебры, слоны аддо.

С особым удовольствием он рассказывает двенадцатилетнему сыну о том, что исчезнувшие породы птиц иногда, к удивлению натуралистов, обнаруживаются там, где никто не ожидал увидеть: на каких-нибудь далеких от их постоянных гнездовий, затерянных в океане островах или в горах, высоко... Поэтому теперь остерегаются с уверенностью утверждать, что та или иная порода действительно исчезла.

Хотя, думает про себя Савин, в жизнь вошло сейчас так много нового, удивительного, небывалого, что не мудрено не заметить, как и в самом деле что-то исчезнет, уйдет.

Потом они сидят в планетарии. Меркнет освещение,

белый купол озаряется вздрагивающими созвездиями. Лектор начинает рассказывать о человеке и космосе.

Это самые волнующие и глубокие минуты воскресенья! Оба Савина, старший и младший, слушают упоенно, сосредоточенно. Только один раз мальчик коснется ладонью руки отца, когда лектор упомянет о Сатурне.

— Кольца сегодня покажешь?

Сатурн — их любимая планета.

Когда они выходят на Садовое кольцо, день клонится к закату, воскресная Москва золотисто освещена. Они идут не спеша к Казанскому вокзалу — двое мужчин, видевших сегодня много, как и подобает мужчинам.

Теперь я хочу рассказать, как познакомился с моим героем. От собрата по перу, журналиста, я услышал, что слесарь-механик одной из экспериментальных машиностроительных лабораторий Сергей Кузьмич Савин стал под сорок лет астрономом-любителем: он построил отличный девятидюймовый телескоп-рефлектор с зеркалом и набором окуляров, увеличивающими в 460 раз, и хочет теперь открыть у себя в Люберцах народную обсерваторию. Тот, кто мне это рассказывал, видел телескоп Савина на выставке работ астрономо-геодезического общества в Центральном дворце пионеров.

Я поехал в Центральный дворец пионеров. Выставки уже не было, но телескоп Савина все еще стоял в пионерском планетарии. Показывал мне его мальчик лет пятнадцати с тем едва уловимым утомленно-ироническим выражением лица, которое можно увидеть только у самых юных астрономов. Но к савинскому телескопу он отнесся достаточно почтительно.

— Серьезная машина для любителя,— охарактеризовал он его добродушно и солидно.

Телескоп Савина — я имею в виду его внешний облик — не оставлял впечатления любительства. В его тяжелых и в то же время лаконично-изящных очертаниях, в тщательной, но без щегольства отделке чувствовалась большая культура.

Я думал, помню, не о том, что передо мной работа человека с редкостным хобби, или, как любят теперь говорить и писать, человека мира больших увлечений,— нет,— я испытывал наслаждение оттого, что видел цельную и славную работу подлинного мастера. Ощущение мастерства, высокого ремесла — в лучшем понимании этого слова — и было единственным, когда я осматривал его телескоп.

Притом души телескопа — зеркала — я увидеть не мог: оно было во избежание повреждений тщательно упаковано. А шлифовка и полировка зеркала — работа, требующая точности до стотысячных долей миллиметра,— и составляют главный искус (в том давнем, уже полузабытом смысле слова, который хорошо чувствовали старые мастера) при постройке телескопа.

Наутро я позвонил Савину на работу. Он обещал быть у меня в редакции в четыре часа. И опоздал немного.

— Извините! — стал он торопливо объяснять, войдя в комнату.— Но уж больно район ваш хорош: красиво живете!

С удивлением я посмотрел в окно на раскаленное и пыльное в этот июньский день Садовое кольцо.

— Нет, я о вашем бульваре,— понял и уточнил он,— пух сейчас густо летит. Если направить умело объектив, чтобы солнце работало, как надо, можно получить замечательную фотографию снегопада при летних роскошных деревьях.

Выслушивая эту мотивировку опоздания (бульвар — летящий пух — фантастический снегопад), я думал о

том, как у этого человека с его быстрой походкой, жестами, быстрой улыбкой, словами — даже папиросу он закурил поразительно быстро, как фокусник,— как у него хватает нечеловеческого терпения долгие часы шлифовать и полировать зеркала для телескопов?

И, едва он уселся, я тотчас же попросил его рассказать, как он шлифует.

— Беру два диска и при тонком слое воды и абразивного порошка начинаю...

Он стал объяснять:

— Рождается сфера...

На слове «сфера» — оно у него вышло как-то особенно выпукло и нежно — ритм речи его резко переломился. Новым, глубоким, замедленным жестом он показал, как обкатывает диск о диск.

— А порошок беру все мельче...

Он сейчас жил этим новым ритмом, это был ритм его сердца, всего его существа. А может быть,— и ритм солнца, планет, созвездий, ритм галактик? И опять, хотя сейчас передо мной был не телескоп, а только руки Савина, я почувствовал мощь мастерства. Я подумал, что это мастерство, это высокое ремесло, этот труд дают, видимо, Савину ощущение причастности всему прекрасному в мире, в природе.

То, что мне открылось потом в его жизни, полностью подтвердило первоначальное восприятие:

Вот он вечером идет в поле с телескопом (не металлическим, тяжелым, а легким, из дерева). Рядом, конечно, сын, а окружает их стая поселковых мальчишек. Савин устанавливает телескоп, достает картину видимости планет. Сегодня Сатурн доступен наблюдению в созвездии Водолея. Он показывает мальчикам загадочные кольца, потом лунные пейзажи.

В дождь сидит с сыном дома — рассматривают в микроскоп капли воды из аквариума. Это рассматрива-

ние — игра. На что похожи микроорганизмы? На деревья... цветы... облака?

Однажды зимой он неделю не выходил вечерами из детского сада; потом, когда зажгли елку, совершилось чудо: она медленно вращалась вокруг собственной оси. Но это еще не все: Савин покрыл игрушки и лампы особым лаком, и елка, вращаясь, лунно, серебристо сияла — игрушечная микрогалактика.

Мне захотелось исследовать более тщательно сутки Савина. Семь часов работы в лаборатории, два часа — чтение книг, четыре-пять часов — работа над телескопом... Посещения астрономо-геодезического общества... Беседы с сыном, вечерние выходы в поле... И пока я по часам разнимал его сутки, меня все время беспокоила мысль: а когда он живет самой полной жизнью — в эти семь часов или в другое время? Мне было важно это узнать, потому что, откровенно говоря, я не особенно люблю людей, лучшие качества которых раскрываются в часы увлечений: я все же думаю, что ощущение полноты бытия, его ценности должна давать человеку в решающей степени основная работа. Это однажды по иному поводу превосходно выразил Хемингуэй: «У меня много других интересов... но... если я не напишу какого-то количества строк, вся остальная жизнь потеряет для меня свою прелесть».

Обширный верстак Савина в его лаборатории — и поле боя, и лавка редкостей. На этом умятом работой четырехугольнике он собирает, обтачивает, экспериментирует, колдует. С ним держат совет инженеры о том, как лучше решить тот или иной узел в новой машине. А внутри уемистого верстака хранятся остроумные инструменты, любопытные детали, интересные чертежи: не одно десятилетие его жизни.

Как-то в речи Савина блеснуло такое:

— Собирал я сегодня один узел, и попалась деталь оригинальной формы: вот она, турель, которая мне нужна! Зарисовал...

Турель — механическая деталь телескопа.

— Ну, а наоборот бывает? — задал я ему важный для меня вопрос.

— Наоборот? — не понял он поначалу.

— Ну да, чтобы, строя телескоп, вы нашли что-то необходимое для основной работы в лаборатории?

Он улыбнулся:

— Вы что же, думаете — во мне два человека?..

И тогда я догадался, что нелепо разнимать его сутки на часы, раскладывать его жизнь по полкам, что есть в этой жизни единый поток мыслей и чувств, который невозможно разделить, как делит порой остров реку, даже на два рукава,— по «рабочему» и «внерабочему» времени. Только в единстве этого потока мыслей и чувств заключается, я думаю, целостность человека, ценность его личности.

Я пишу сейчас не полемические заметки и все же не могу не выразить резкого несогласия с авторами некоторых из публикуемых в изобилии статей и исследований о проблемах свободного времени, где читателю вольно или невольно внушается мысль, что это очень хорошо, если человек от и до инженер (пусть самый заурядный, бескрылый), а по вечерам разыгрывает сложные пьесы на кларнете. Меня не особенно радуют модные среди журналистов разговоры о «людях второго таланта». Талант — это, по-моему, нечто абсолютно цельное, исключающее порядковые номера.

Беседуя с Савиным, все время поражаешься одной его особенностью: он как бы не допускает мысли, что когда-нибудь будет мир без него.

А между тем однажды он застал мир как бы без себя.

В сорок втором вернулся в Москву из госпиталя и получил повестку, что убит и похоронен; было точно указано место — маленькая деревня близ Ржева. А еще раньше о том, что его нет в живых, узнали в военкомате и на заводе. Появляясь в старых местах, он видел лица, в которых отражалось все: и то, что он умер, и то, что воскрес.

А вышло это вот почему: на войну он ушел с любимой в юности книгой — романом Мериме «Хроника времен Карла IX». По-мальчишески рассчитывал, что будет время для чтения. В сорок первом под Ржевом времени на Мериме не оставалось. И компактная, удобная по формату книга стала вместилищем всех документов. Когда его тяжело ранили и унесли, Мериме выпал, остался лежать па земле. Потом ту деревню разбомбили, потом нашли книгу, раскрыли, увидели документы...

Хорошо, что есть люди, которые уходят на войну с дорогими сердцу книгами, люди, которые показывают поселковым мальчишкам небо в алмазах и любят жизнь, планету с ее горами, детьми, дорогами, исчезающими птицами, новой техникой, равной по масштабам горам, и отдают себя максимально, чтобы защитить и развить в этой жизни, на этой планете все, что делает их достойными человека.

Поэзией любовь к жизни была во все века. И остается ею навечно. Но в наше время все более мощно входит в любовь к жизни и этика: чувство ответственности за красоту мира, за будущее детей. Этика не убивает поэзии — она углубляет ее. Так же как поэзия обогащает этику. Более того, из переживания чуда жизни и родилась настоящая доброта.

Ощущение бесконечной ценности жизни и человека лежит в основе этики революционеров. За этим ощущением идет желание видеть мир построенным «по зако-

нам красоты», в котором ничто не уродовало бы ни человека, ни жизнь. Не менее естественно выкристаллизовывается и потребность в революционном действии. А потом рождается и деяние, обновляющее мир. Силу этой логики ощущали на себе большинство великих революционеров, но может быть, наиболее полно — Чернышевский, Ленин, Дзержинский, к которому мы часто обращаемся в этом повествовании.

Вот Феликс Эдмундович, двадцатичетырехлетний революционер, пишет сестре из тюрьмы о том, как из борьбы «вырастает чудесный цветок, цветок радости, счастья, света, тепла...». Это, разумеется, образ. Но он любит и подлинные, настоящие живые цветы и горестно сетует: «Мне только недостает красоты природы, это тяжелее всего». И радуется как ребенок, когда в его камере оказываются розы: «Одна, розовая,— пишет он брату,— почти совсем уже увяла, но зато две бело-желтые, с зеленоватым оттенком... ласкают мой глаз, я любуюсь ими...»

Когда он находился в X павильоне Варшавской цитадели, ему полагалось на письма полпочтового листика в неделю.

«Я помню твое удивленное лицо,— писал он брату И. Э. Дзержинскому,— когда я сказал тебе на свидании, что буду писать каждую неделю».

Брату казалось, что в условиях тюремной жизни не хватит материала даже на крохотные почтовые листки. Но он ошибся.

Одна из самых поразительных страниц писем Феликса Эдмундовича брату та, на которой он рассказывает, как изменяется его одиночная камера с наступлением вечера. Сумерки делают ее таинственной и будто бы незнакомой... Тени, падающие на пол и стены от стола, книг, висящего пальто и шапки, и собственная движущаяся тень Дзержинского сообщают ей как бы новую

жизнь... Господствует ярко освещенный стол с открытками. «И тогда,— пишет Дзержинский,— с освещенных открыток как живые смотрят на меня: красивые деревья над водой, головка лукаво улыбающейся девушки, кустики прелестного вереска, напоминающего мне наши леса и мое детство, почти голенькая девчурка с локонами...» «Итак,— заключает он,— весь мир я вижу тогда перед собой».

Этот благословенный мир — «сияющих красок», «оттенков заката», «сверкающих звезд», и, разумеется, «счастья чувств», был в нем самом.

Когда читаешь письма-дневники Дзержинского, чувствуешь в этом большом человеке подлинного художника. Да и не были ли художниками в душе все великие революционеры, стремившиеся построить мир «по законам красоты» и ради этого, если надо, жертвовавшие собой? «Кто любит жизнь так сильно, как я,— писал Дзержинский,— тот отдает для нее свою жизнь». Он мечтал о мире, «базирующемся на гармонии». И отвергал мир, в котором «не видят красоты, не слышат гимна жизни, не чувствуют теплоты солнца».

Любуясь в Швейцарии Альпами, он восклицал: «Так прекрасен мир! И тем более сжимается мое сердце, когда подумаю об ужасах человеческой жизни...» И возвращался в Россию, и боролся с самодержавием, и сидел в казематах, и писал оттуда жене о сыне, которого ни разу не видел: будет революционером. Он писал это после того, как жена сообщила ему, что Ясик в восторге от зелени, пения птиц, растений, цветов и живых существ. Он будет революционером, решил Дзержинский, потому что, чувствуя красоту мира, захочет, чтобы «человеческая жизнь стала... красивой и величественной...»

Ощущение жизни как чуда помогает и нам, потомкам революционеров, быть мужественными, цельными, а если надо, то и буднично самоотверженными.

Однажды в Подольске я забрел в изостудию и увидел рисунок, который меня изумил. Было это в небольшой комнате, тесно уставленной гипсовыми изображениями античных богов и героев, странно красноватыми от вечернего солнца, бьющего в высокие окна. В ворохе студийных работ я нашел рисунок головы Эсхила и долго-долго не мог оторваться от лица его, и похожего и не похожего на то, которое запомнилось мне с юношеских лет.

В залах музеев и академических изданиях я видел строгие, казалось, немые черты старца, исполненные величавой мысли. На рисунке же лицо это точно утратило на миг ту торжественность, которую являло миру из века в век два с половиной тысячелетия,— оно потеплело, улыбнулось. Я узнавал и не узнавал великого поэта античного мира, автора бессмертной трагедии о Прометее, и подумал невольно, что художник писал не с мертвого гипса.

Кто он, этот художник? Мне ответили: рабочий механического завода имени М. И. Калинина Дмитрий Васильевич Марачев, литейщик, увлекающийся живописью и лепкой. Ему пятьдесят, а он вечерами рисует рядом с двадцатилетними в изостудии Дома культуры.

Я захотел увидеть его. Оказалось, он лежит в больнице. Я и поехал в больницу. Уже наступил вечер. Дежурный врач, узнав о цели моего посещения, пожал плечами:

— Нашли время беседовать с больным о живописи. Да и худо ему сейчас. А рисует все дни! — И он суховато рассмеялся.— Больных перерисовал, сестер... С утра до вечера пишет! Меня изобразил... Видно, это сильнее боли.— И пахмурился: — Нет, не пущу вас...

Я попросил передать письмо. И тут же ему написал: поздравил с хорошим рисунком, пожелал выздоровления.

Недели через три я получил от Марачева ответ. Он

коротко сообщал, что выписался из больницы, чувствует себя лучше. Сейчас в отпуске, но при желании можно найти его в лаборатории литейного цеха. Там он работает над чем-то, что особенно ему дорого. А над чем — не написал.

Я вошел в лабораторию, увидел человека — худощавого, в старом пальто; он стоял вполоборота у стола, листая тетрадь.

— Мне нужен Дмитрий Васильевич.

— Я...

— Вы?

Потом я часто мысленно возвращался к этой первой минуте и не мог отчетливо понять, что же меня удивило? Его будничность? Но не ожидал же я, в самом деле, что навстречу мне выйдет полнеющий человек в бархатной блузе, с живописным беспорядком волос! Лицо его, возможно, от пыли, которая носилась в воздухе, казалось небритым, усталым. Юношески худой, видимо, подсушенной болезнью фигуре странно не соответствовали тяжелые руки молотобойца с кистями, будто высеченными из камня. Из-под шапки выбивались негустые седеющие волосы.

Пожалуй, все-таки мое удивление объяснялось тем, что я ехал именно к художнику. А облик человека у стола не вязался с мольбертом.

— Интересуетесь моей работой? — Он посмотрел мне в лицо смущенно-сердито.— Пойдемте. Это надо увидеть.

Мы вышли из лаборатории, пошли на багровые огни вагранок. Рабочие с лицами, осыпанными угольно-черной горелой землей, тянули ковши расплавленного нежно-алого металла. Он слабо плескался, дышал, точно живой. Его разливали в формы — разлетались искры. И все вокруг гремело: железо о железо.

— Да,— сказал я, вглядываясь в разнообразную игру света и тени,— это красиво.

— Красиво? — удивился Марачев.— Что вы! Это отвратительно! Надо, чтобы люди работали в белоснежных рубашках. И было настолько тихо — ну, музыку можно услышать за стеной, рояль!.. Вот тогда будет по-настоящему красиво...— Он улыбнулся, точно извиняясь за несоответствие между мечтой и действительностью. И пояснил: — Замыслил я литейный цех-автомат, может быть, первый в мире. Видите,— он потрогал пальто,— самое старое надеваем, идя на завод. А надо бы новое, даже нарядное. Работа — праздник! И окна,— он показал на что-то черное, древнее,— отмыть от дыма, чтобы все было освещено солнцем...

Мы шли, осторожно обходя ковши с жидким металлом, шарахаясь от искр; метались тени; то ослабевал, то разгорался свет, но мне теперь было ясно: во всем этом нет красоты. Не успел я так подумать, как залюбовался сильными ритмичными движениями рабочего у конвейера. Он быстро и ловко снимал тяжелые опоки, ставил их на мерно вздрагивающую виброрешетку — рассыпалась в прах земляная форма, падала, соскользнув, горячая розовая деталь. Правое плечо рабочего могуче поднималось, как у гребца, который упрямо поворачивает лодку наперекор волне.

— Варварство, варварство...— повторял за моей спиной Дмитрий Васильевич. И, обняв меня одной рукой, повернул в другую сторону.

Я увидел точно такой же конвейер, но рабочего у виброрешетки не было, опоки подавались на нее автоматически, плавным механическим движением. Оно напоминало усилие поднимающегося человеческого плеча.

— Видите, иногда без человека красивее,— сказал мой спутник.— Переведем на автоматику все конвейеры, и ему,— мы опять обернулись,— не нужно будет воро-

чать руками тонны металла.— Минуту Дмитрий Васильевич наблюдал молча, потом рассмеялся: — До чего же это чудесно устроено — человеческое тело! Играет, поет... Я рисовал его,— говорил он, любуясь рабочим.— Рисуя, и нашел ее — идею механического плеча...

— Постойте! Автомат этот ваш?..

— Да...

— И все началось с рисунка?

— Рисунок помогает. Часто...— ответил он рассеянно. И тряхнул головой, точно очнулся ото сна.— Пойдем. Шумно...

— Земляные формы я задумал заменить керамическими,— кричал он мне в ухо, пока мы шли к выходу из цеха,— дешевле! И рабочие похожи на трубочистов не будут. Детали же надо очищать от окалины не ударами молота, а пенозвуковой волной в особой ванне! Кислородное дутье в вагранке хочу усилить. Может быть, перенести сюда механику действия смерча. Удивительнейшее это явление — смерч. Читаю о нем, рисую, и, поверите, сердце болит — силища ведь! А без пользы шатается по пустыням...

Я не удержался от несколько наивного, чисто журналистского вопроса:

— С чего начался этот ваш интерес к пустыням?..

После грохота литейки тишина заводского двора казалась глубокой, говорящей, наполненной дрожанием струн.

— Хотите, расскажу о моем старом товарище? — сказал Дмитрий Васильевич.— Был он хорошим токарем и все время изобретал, сочинял новые резцы. Легко, шутя... И ничем иным в жизни не интересовался. Обвел себя человек чертой, и что по ту сторону — не мое! И вот однажды не пошло у него дело. Бился-бился, устал и поехал вечером с дочкой в зоологический сад. Посмотрели тигра, слона, обезьян, подошли к белке. А женщина-эк-

скурсовод в эту минуту рассказывала о беличьих зубах, о том, что несравненно они устроены — чем больше стачиваются от орехов, тем острее и тверже. Услышал это мой товарищ и задумался. А через день купил белку, будто в подарок дочери. И в подражание беличьему зубу создал чудесный резец. Тот, о котором, наверно, мечтал всю жизнь. Создал и потерял покой, стал интересоваться всем на свете, в особенности миром животных. Динозавров видел во сне. И все его теперь занимало: водопады... морские бури... полет птиц... А работал все лучше, с фантазией. Изобретал крылато! Токарь не умер — человек родился.— Дмитрий Васильевич помолчал, улыбнулся: — Жизнь, я думаю, похожа на луг с цветами, а улей — любимое дело.

Утром, по дороге на завод, я собирался говорить с этим человеком о Левитане и Рерихе, Рембрандте и Пикассо, портрете и жанре... Теперь это отодвинулось. В его отношении к жизни чувствовался художник, но в ином, несравненно более широком смысле, чем я ожидал. И может быть, даже художник не то слово, и еще не родилось новое, по-настоящему точное.

— А у вас что самое любимое на этом лугу? — спросил я.

Ответ его меня удивил:

— Музыка. Рояль.

Я посмотрел на его руки — руки молотобойца.

— Сами играете?

— На гитаре.

— Наверное, рано начали работать?

— Мальчишкой, с двенадцати лет, после Октября. Помню, голыми руками поднимали трамваи на вагоноремонтном...

Мы вышли на тихую улицу. Темнело, желтый свет в окнах и снег, белеющий все резче, были красивы и волновали, как на картинах старых мастеров.

— Мальчишкой, с двенадцати,— повторил Дмитрий Васильевич.— И все ищу, изобретаю. Первым хочу войти в коммунизм. И я побывал уже однажды в коммунизме. Да! Было это в нашем деревоцехе. Не улыбайтесь. Работали там механизмы для заточки циркулярных пил — несложные, но капризные на редкость. Я думаю, что любую машину, самую даже баловную, можно воспитать, как ребенка. Поручили мне их обслуживать... Они не давались долго, потом ничего, наладил, настроил, стали послушны. И вот нечего мне делать — сами работают. И тогда я,— Дмитрий Васильевич рассмеялся,— натаскал в цех глины и начал лепить портреты рабочих с натуры. Механизмы жужжат, а я леплю или рисую. Не разберешь, цех это или художественная студия. Вот и при коммунизме, я думаю, будет сидеть человек у пульта и, пока машины работают, писать портрет возлюбленной, или читать Шекспира, или наблюдать небо в портативный телескоп — что кому интереснее. И все на этом заводе-автомате будет красиво и разумно, чтобы думалось хорошо о самом дорогом. Разумно и красиво...

Тут я невольно вспомнил о вещах, которые показывали мне несколько месяцев назад в Чехословакии инженеры и рабочие — энтузиасты эстетики труда. Я держал в руках инструменты не только безупречно точные, но и волнующе изящные — индустриальная культура нашего века славно соединялась с чистотой форм, честное слово, античных. Я видел оборудование, окрашенное в различные цвета, чтобы человек меньше уставал и празднично воспринимал окружающее. Видел цехи со стенами из стекла, за которыми осенью падают листья, зимой — снег, весной распускаются почки, и кажется, ничего не отделяет тебя от этого волшебного мира. И я подумал опять: до чего же это хорошо! И нужно. Нам в особенности.

Дмитрий Васильевич между тем развивал мысль:

— Через два десятка лет автоматизация станет повсюду обыденной вещью. А вот душа рабочего не заскучает, когда рукам нечего будет делать? Поставьте сегодня у пульта Степана Левичева, который — видели? — снимает опоки у конвейера. Думаю, заскучает. А душа его — клад. Расколдовать его надо!

Мы долго молча шли по вечереющей улице. Потом я попросил:

— Покажите мне ваши рисунки.

В маленьком доме на окраине города он познакомил меня с женой и дочерью-инженером. В одной комнате висели две картины: написанный маслом портрет дочери и копия «Девятого вала» Айвазовского. В другой — на столе, за который меня усадили, лежали книги, раскрытая тетрадь. Пока хозяин что-то искал за моей спиной в шкафу, я быстро читал названия: «Автоматика», «Литейное дело», «Гидравлика», «Керамика», «Авиация». И в тетрадь заглянул,— не удержался,— увидел чертеж тонкий и точный, со светотенью; рядом скупые строки: состав шихты полупостоянной керамической формы — графит, корунд, кварцевая пудра...

— Вот. Писал с натуры. Осенние этюды...— Дмитрий Васильевич положил передо мной несколько акварелей.

Краски были легки, нежны. Береза в облетающей серовато-золотистой листве. Заглохший зеленоватый пруд. Деревенская улица в час заката: темный, почти черный ряд домов на густом ярко-оранжевом небе.

— Если можно, покажите еще что-нибудь. Хорошо бы портреты.

— Я у себя почти ничего не оставляю. Раздариваю... Если по душе — пожалуйста, берите...

Он порылся в шкафу, нашел несколько рисунков.

— Наброски, не больше...

Передо мной были мужские портреты в акварели и карандаше. Мужественное, даже суровое лицо с резко очерченными морщинами, горьким и волевым изгибом рта... А вот лицо, тоже суровое, но в запекшихся губах — обещание улыбки... И я вдруг понял, что имею дело с настоящим, талантливым художником, для которого нет в мире ничего ближе и важнее человека.

— Я рисовал это в больнице,— пояснил он.— Товарищи по палате.

Я перевернул лист и увидел портрет врача, видимо хирурга,— лицо утомленное и, я бы сказал, горестно-счастливое, с крупными каплями пота на лбу...

— Врачей пишу часто,— сказал Дмитрий Васильевич.— Это моя добрая месть им. Не понимаете? Двадцать пять лет назад несчастье вошло в мою жизнь... Я попал в автомобильную катастрофу, и меня изломало насмерть. Десять дней и ночей я лежал без памяти, на одиннадцатую очнулся, услышал за тонкой перегородкой разговор — обо мне. Мужской голос, доктора, твердо говорил: «Жить, думаю, будет, но работать в полную силу, тем более картины писать,— никогда». А женский — тихо плачет. Жена... Забылся я, а под утро очнулся опять. Неужели, думаю, уйду, не оставив ничего людям?! И весь этот мир и все его богатство не для меня теперь? Лежу в бинтах от пят до ушей, тело чужое, точно немое, и только сердце — живое, мое, в самом горле стучит. Из больницы я не выписался — убежал, хоть и ноги передвигал едва, и стал работать, думать, писать! И снова меня укладывали в больницы, и опять я убегал, раз даже через окно. И с тех пор рисую врачей. Это моя добрая месть им за то, что не верили, что буду писать...— Он лукаво сощурился.— Лет пять назад грохнулся, затмилось сознание, чуть не умер. Отлежался и стал умолять женщину-врача: «Не записывайте в инвалиды, работать хочу!» Она мне с непреклонной лаской в голосе:

«У вас же нет сил, дорогой товарищ». Из самого твердого камня я высек ее портрет: вот моя сила! Убедил. И от радости, что на заводе оставили, чуть с ума не сошел, осточертел нашему БРИЗу — то новый метод обработки дерева под лакировку тащу, то заявку на замену металла в пресс-формах техническим фарфором, то конструкцию малошумного барабана... Тогда же задумал и самое мое дорогое — литейный цех-автомат... Хорошая была осень!..

Потом он показал мне последнее, что было у него дома: три «академических рисунка», выполненных в изостудии «ради самоусовершенствования». И уже второй заставил меня забыть обо всем: передо мной было сокровенно улыбающееся лицо Эсхила, по-видимому один из вариантов рисунка, который меня изумил.

— Вы читали когда-нибудь трагедию о Прометее?

— Это мое любимое,— ответил он.— Наизусть помню. Не все стихи, конечно...

— Почитайте!..

Мне вдруг безумно захотелось услышать в этом домике, на окраине подмосковного города, монолог, в котором Прометей, закованный в железо, бросает вызов Зевсу, говорит о безмерной любви к людям.

— Нельзя,— возразил он строго.— Это надо читать торжественно, под рояль...

— Почитайте сейчас!..— повторил я.— Пожалуйста.

Он снял со стены гитару, сел, наклонив голову, осторожно коснулся струн.

Божественное пламя я похитил,
Сокрыв в стволе пустого тростника.
И людям стал наставником огонь
Во всех искусствах, помощью великой...

Голос его задрожал, в глазах заблестели слезы. Он положил ладонь на струны, заставил их замолчать.

— Вас, наверное, удивляет, что я помню эти стихи наизусть. Много лет назад я услышал их по радио в тяжелый час. Они помогли мне выйти к людям. Потом я понял, что смысл их шире моей личной боли...

Он читал, перебирая струны гитары:

Конечно, я такой не чаял муки:
Не думал я, что буду иссыхать
На высоте пустынного утеса.
Но вы не плачьте о моих скорбях,
А на землю сойдите, чтоб услышать,
Что ждет меня в грядущем...

— Да! — Он поднял голову, посмотрел на меня строго, даже торжественно.— Огонь, который подарил Прометей людям, они в ладонях сберегли от ветра, донесли до нашего века. И Ленин разнял те ладони, поднял огонь высоко, всю землю осветил. Наша забота, чтобы пылал все выше, жарче...— Помолчал и улыбнулся.— Этот Прометей был совершенно замечательным человеком! Он умел делать все: врачевать раны, строить корабли, избавлять от телесного труда... Понимал и науку чисел, и язык муз. Все!.. Был он вроде итальянца Леонардо да Винчи или нашего Михайлы Ломоносова.

Большими огрубелыми пальцами тронул струну, наклонил голову, слушая тихое пение. И стал на редкость похож на обыкновенного русского мастерового, отдыхающего с гитарой после утомительного дня.



Парк в горах

«Безумству храбрых поем мы песню!..»

М. Горький

О герое этой истории я услышал в первый раз на новогоднем вечере,— в кругу писателей были врачи, летчики, саперы. Молодой талантливый хирург, тридцатипятилетний доктор медицинских наук Вячеслав Иванович Францев поднял тост за человека, о котором еще

ничего не было написано, может быть, в силу известного неправдоподобия того, что он совершил.

Вот что я в тот вечер узнал.

У сына инженера С. было очень больное сердце. Его оперировали в одной из московских клиник настолько успешно, что полностью вернули радость детства. Инженер — он живет и работает в Московской области,— видя, что мальчик становится день ото дня все веселее, поехал в Москву «поблагодарить хирурга».

Но тот от подарков решительно отказался. Началось томительное объяснение, в котором оба чувствовали себя неловко. Видя, что оно затянулось, хирург сердито объявил, что вещь, которая действительно ему нужна,— это редкий дорогой инструмент, помогающий при операциях на сердце. Делают его сейчас хорошо в Англии. Там мы и покупаем на фунты стерлингов. Единственный экземпляр в их клинике ценится на вес золота. «Что ж,— ответил инженер, подумав,— дайте мне его на сутки, я запишу размеры, и мы у себя на заводе...» Хирург согласился, не особенно веря в успех...

Инженер С. показал английский инструмент самым искусным лекальщикам завода, в том числе и старейшему из них — Сергею Степановичу Павлову. Те решили: вещь тонкая, механика точная, но выполнить можно, даже в чем-то чуть-чуть усовершенствовать. Инженер — он и сам был мастак в лекальном деле — начал работать. Через несколько месяцев поехал в Москву, в клинику, с подарком.

Было это летом, а однажды осенью появился инженер на работе темнее тучи. Товарищам рассказал, что был в Москве, видел хирурга. «Сломался мой инструмент...» «А английский?..» — насторожились лекальщики. «Как часы»,— ответил инженер. «Это что ж!» — опечалился Павлов.

Через шесть месяцев руководителя только что созданного в областном клиническом институте отделения сердечно-сосудистой хирургии Вячеслава Ивановича Францева вызвали в Мособлздравотдел. «Вот познакомьтесь,— сказал заведующий облздравотделом, подводя к Францеву пожилого улыбавшегося человека.— Рабочий-лекальщик Сергей Степанович Павлов делает вашему молодому отделению небывалый подарок...»

— Я открыл большую металлическую коробку,— рассказывал на новогоднем вечере Францев, восторженно сияя,— и утратил дар речи: передо мной был инструмент, о котором я мечтал. Я был настолько растерян, что, кажется, даже не поблагодарил. Только помню, пока шли по улице к метро, рассказал Павлову о последней операции и показал, как вхожу пальцем в сердце. Через несколько дней он мне позвонил: «Хочу увидеть сердце». Кончилось это тем, что он создал новые варианты инструмента, намного совершеннее английского. В последнем варианте есть детали, по-моему, гениальные...— И Францев изумленно рассмеялся.

Слушая его рассказ, я подумал, разумеется, о лесковской истории: в ней тоже чудесный русский мастер поставил англичан на место, подковав блоху. Но, во-первых, Левша — лицо вымышленное. А, во-вторых, блоха, хотя и микроскопическая, из стали, заводная,— это блоха. Не сердце...

Францев рассказывал увлеченно, с молодым пылом. Но именно его пыл и охладил меня несколько. Показалось, что в атмосфере новогоднего вечера, пообщавшись к тому же с писателями, он невольно из самых добрых побуждений «украшает хорошее».

Сердечная хирургия для меня — один из самых таинственных островов, открытых в XX веке. Это, по-моему, земля, исполненная бесчисленных опасностей, не разгаданная еще, на которой врач ежесекундно пере-

живает описанное Пушкиным «упоение в бою и бездны мрачной на краю».

Можно ли было поверить, чтобы человек, не имеющий отношения ни к медицине, ни к тайнам человеческого сердца (в медицинско-хирургическом аспекте), открыл — или создал — на этом волнующем и странном острове что-то новое? Все становилось понятным, так сказать, земным, когда я начинал думать, что высококвалифицированный, искусный лекальщик выполняет точные детальные указания талантливого хирурга, работая по образцам, по чертежам и т. д.

Недели через три жизнь снова вернула меня к этой истории. От человека, работающего в областном клиническом институте, я услышал о странном посетителе отделения сердечно-сосудистой хирургии. Он стоит на операциях за плечом заведующего отделением Францева, наблюдая сосредоточенно за его руками; часами, закрывшись в кабинете, они рисуют, обсуждают, рассматривают модели и снимки... В институте говорят о странном посетителе, что это рабочий, который решил на шестом десятке «познать сердце», чтобы создать какие-то новые хирургические инструменты.

И тогда я решил... убежать от чуда, в том смысле, в котором употреблял формулу «бегство от чуда» Эйнштейн. Если что-то кажется нам удивительным, парадоксальным, «чудесным», надо исследовать механизм чуда, чтобы, утратив первоначальное удивление, познать новое в мире. Надо вторгнуться в глубь чуда...

Я пошел в институт к Вячеславу Ивановичу Францеву и попросил показать мне инструменты Павлова. Он положил передо мной что-то металлическое, блестящее, холодное, отдаленно напоминающее пистолет. Была в этом металле, как, видимо, и в любом хирургическом инструменте, какая-то завораживающая, гипнотизирующая сила — в блеске, холоде, беспощадно лаконичных

очертаниях. Я коснулся его пальцами с каким-то суеверным чувством: может быть, час назад эта сталь была в живом человеческом сердце.

— Первый инструмент,— вернул меня к действительности ровный голос Францева.— Второй...— Он положил рядом тоже что-то блестящее, холодное, но несколько иных очертаний.— Третий... Теперь посмотрите сюда.— Он быстро, не отрывая карандаша от бумаги, нарисовал сердце: — Вот митральный клапан. При ревматизме он суживается все сильнее, створки закрываются, оставляя все более узкую щель. Сердце голодает. Оперируя, мы входим в эту щель пальцем и разрываем створки. Но иногда пальцем не удается разорвать их до конца. Человеку кажется после операции, что он ожил, а через год — полтора мы опять должны будем положить его на операционный стол. И вот, когда палец бессилен, я беру инструмент Павлова.— Он чуть стиснул ладонь, и металлический стержень развернулся веером на самом конце: — Митральный клапан расширен, как надо. Вот описание последней операции...

Я мгновенно выхватил из убористого, почти без интервалов, трудно читаемого текста строку: «Введен дилятатор Павлова». И захотел узнать какой: первый, второй, третий?

— Третий,— ответил Францев,— самый совершенный. Суть поисков Павлова в том, чтобы зафиксировать в металле живой изгиб руки хирурга, когда он входит в сердце. Это и отличает последний вариант от первого, повторяющего английский образец. Но не только это. Павловский инструмент универсален, он рассчитан не на абстрактное, а на конкретное человеческое сердце с определенными анатомическими особенностями, оттенками болезни и т. д.— Речь Францева была точна, холодна и лаконична, как инструменты, о которых он рассказывал, и это почему-то особенно убеждало.

— Да,— посмотрел я на сталь.— Удивительно!

Францев изумленно рассмеялся, тряхнул головой.

— Этот человек с самого начала меня покорил.

— Мастерством, талантом...— подсказал я ему.

— Нет! — энергично отвел он мои слова.— Нет... Бескорыстием. И чем дальше, тем сильнее. Каждый инструмент — до шести месяцев работы. А он и говорить не хочет о вознаграждении. Видимо, для него это хобби, что ли? Понимаете, увлечение... Бескорыстная любовь... Какое-то новое, рождающее определенные ценности хобби... Это вам не марки собирать!

— Вы видите в нем чудака? — задал я один из самых важных для меня вопросов.

— Чудак и чудо,— рассмеялся Францев.— Это так близко.

И вот он наконец передо мной. Сергей Степанович Павлов. В белом больничном халате, в сильных очках (у лекальщиков за пятьдесят редко сохраняется хорошее зрение), с лицом простонародным, умным и тяжеловато уверенной осанкой, он и сам кажется мне похожим на хирурга. И руки — крупные, чистые, только цвет пальцев не «хирургический», видно, что имел дело в жизни с металлом. Он работает тридцать семь лет на одном заводе. И когда, беседуя со мной, неторопливо объясняя суть дела, берет яркий кусочек стали, в больших пальцах — та легкость, то изящество, по которым узнаешь истинного мастера, видя его даже не на работе. Мы говорили поначалу о металле, потом я перешел к тому, что меня особенно волнует.

— Часто думаете сейчас о человеческом сердце, Сергей Степанович?

— Да нет,— отвечает,— не часто. Перед сном иногда подумаю: я вот усну, а оно будет стучать, стучать. Будет работать. Я отдыхаю, а оно тянет...— О сердце он говорит, как рабочий человек о рабочем человеке.

— А на операциях не страшно?

— Говорят,— улыбается,— что иногда в обморок падают по первому разу. Даже мужчины. Может быть... А я за руками Вячеслава Ивановича наблюдаю внимательно. И тоже будто работаю.— Он рассказывает, как, наблюдая за руками хирурга, строил в воображении, а потом в металле универсальный дилятатор.

— Разве не было чертежей?

— Обхо̀жусь без...

— А рассказывают, что сидите с Францевым, чертите часами.

— Сердце рисуем.

— А о чем думаете потом?

— О степени кривизны стержня, о том, чтобы гибкая передача была хороша...

— А о сердце думаете?

— Я ж говорил: перед самым сном иногда. Вот усну, а оно будет стучать...

— В сущности,— вмешивается Францев,— Сергея Степановича волнует та же тайна, что и новую науку — бионику. Почему сердце не устает?

Потом, когда Павлов вышел, Вячеслав Иванович обратился ко мне.

— Вы почувствовали его изумленное отношение к жизни?

А я в эту минуту думал о том, что рабочий, лекальщик Павлов, помогает понять одну изумительную, занимавшую в течение веков философские умы особенность человека: он совершает великое с настораживающим моралистов (они любят отыскивать «тайные пороки»!) бескорыстием или не совершает его вообще. Он никогда не делает это великое за деньги, за почести или из страха. И не потому, что не хочет: в любую из эпох тысячи людей хотели, совершив нечто замечательное, войти в «сонм бессмертных». Не получалось... А полу-

чалось у тех, кто делал это бескорыстно, не помышляя ни о золоте, ни о почестях. Ради денег не было написано ни одной великой книги, не совершено ни одного великого открытия в науке, не начато ни одного великого путешествия... (О фантастических богатствах мечтали матросы Колумба, но не он сам.) То, что делалось ради золота, не оказывалось великим даже у тех, кто когда-то, в пору бескорыстной юности, подавал большие надежды; это великолепно показал Гоголь в «Портрете».

Почему же только бескорыстие вело к победе? К бессмертию? В чем же тут дело?

И вот, подумал я тогда в кабинете Францева, не ученый, не мореплаватель, не писатель, а «обыкновенный человек» Павлов, рабочий-лекальщик, помогает это понять.

Потом я узнал: когда с Павловым однажды заговорили о вознаграждении, он ответил:

— Покажите мне двух человек, которым помог мой инструмент.

Создавая его, он начал с азарта («Англичане могут, а я?»), а кончил тем, что выше азарта, самолюбия, гордости,— мыслями о человеке...

Мы подошли сейчас к одной из больших тайн человеческой личности — соотношению в ней творческого и нравственного начал, но перед тем, как коснуться этой тайны, я хочу рассказать о необыкновенном парке в горах.

Даже южные склоны хребтов были покрыты снегом, на сахарной, слепящей белизне парк чернел землей и зеленел травой с необыкновенной отчетливостью. Тонкие нераспустившиеся деревья, освещенные снегом со всех сторон, вырисовывались так, будто их каждое утро обводили мягким серым грифелем: явственно и в то же

время чуть размыто. Да и в самом парке, хотя уже начался май, снег сошел совсем недавно, дорожки набухли, и по ним еще почти никто не ходил.

Этот оттаивавший томительно парк еще больше, чем острый воздух и плотный снег, напоминал о том, что мы в горах, высоко — две тысячи сто над уровнем моря. И только вечерами, при незажженных фонарях, когда яркое и шевелящееся, как в планетарии, южное небо опускалось все ниже, он, казалось мне, оживал. Его населяли в эти часы олени, и пантеры, и кентавры, и женщины, похожие на Нефертити. Каждый раз можно было увидеть что-то новое, настолько реально живое, что хотелось искать на мокрой черной земле отпечатки ног. Ежевечернюю эту игру затевали вулканические валуны, там и сям разбросанные по парку. Как и любой камень в горах, были они умяты ветром и обточены водой до более или менее различимого образа: мифического существа, реального животного, человека.

Чем явственнее оттаивал парк, тем больше нравились мне эти камни — уже не только вечерами, но и по утрам.

На траве, зеленеющей все темнее, под разжимающимися, как крохотные кулачки с синеватыми от напряжения ладонями, почками, они покоились устойчиво, даже величаво; серая неровная тысячелетняя фактура хорошо оттеняла мимолетную красоту высокогорной весны. Я невольно воображал, как зримо хороша и глубинно оправданна эта фактура летом, когда в парке распускаются розы, и даже усматривал все отчетливее особый умысел в точном, как мне казалось, и умном расположении камней.

Вот об этом-то я и заговорил однажды со стариком, которого в последние дни встречал каждое утро на подсыхающих дорожках. Высокий, худощавый и подвижной, с темно-коричневым лицом, накрепко обожженным

солнцем, он, чуть откидываясь назад головой и плечами,— движение, абсолютно не свойственное старикам,— ощупывал уже совсем живые ветки берез или, осторожно опустившись на корточки, перебирал землю такими же темными, как лицо, руками.

— Хороши камни? — тихо рассмеялся он, выпрямляясь.— Да!.. А вы бы их посмотрели лет пятнадцать назад на болоте.

— На каком болоте? — не понял я.— Вы что же, возили их сюда... с болота?

Отдышавшись после долгого радостного смеха, старик посмотрел мне в лицо уже серьезно, с оттенком иронического удивления.

— Разве это стронешь с топкого места? Мы бы тогда охотно уволокли их отсюда, да...— сокрушенно развел руками.— А вышло к лучшему,— опять рассмеялся,— вышло, что без них-то и парка не было такого. Да? И если бы сегодня можно было камни убрать, я бы защищал их, как деревья, ну, к слову, как эту...— он повел меня куда-то вглубь, размашисто шагая, — эту ель!

Невольно я подумал о том, почему он потащил меня сюда,— ели стояли и там, где мы разговаривали.

— Именно эту? — дотронулся я до дерева, ничем не отличавшегося по виду от остальных.— Особая она?

— Она не особая,— ответил старик неожиданно строго.— Самая обыкновенная, серебристая. Только ехали мы сюда вчетвером: я, старуха моя и два дерева — ель и береза. Деревья вот живы. Это и то...

Я вдруг понял, что он очень стар, что ему за семьдесят, и понял это не по лицу, не по рукам, не по походке, а по голосу, когда он сказал, что деревья, с которых и начинался парк, еще живы.

Когда он смеялся, голос у него был совсем молодым — смех как бы возрождал его. Но сейчас ему не смеялось, и я услышал его семьдесят лет.

— Должно быть, тогда и города еще не было, во времена болота? — сказал я.

— У! — рассмеялся он опять.— Города! Вот домишко стоял этот — видите, двухэтажный, лесничества. В нем и собрали ботаников со всей страны...

— Зачем?

— Зачем?! — удивился он, даже горестно, моей неосведомленности. И, откинув голову, посмотрел широко вокруг как бы для того, чтобы вернуть утраченное на миг ощущение реальности, удостовериться, что мы стоим посреди распускающегося парка, а не на том болоте.— Ну да...— закончил он фразу по-детски непоследовательно,— вы ведь не слыхали про ту звезду...

Молча ждал я разъяснения.

— Стоит ли зажигать звезду, если хорошо известно, что она погаснет, не успев вспыхнуть?..— Он выговорил это замедленно, будто восстанавливая в памяти стихи, забытые давно.

И тут его позвали женщины, распаковывавшие неподалеку ящики с рассадой, и он, поклонившись мне, быстро ушел. Я услышал издалека его смех. Он ушел, оставив меня с чувством, которое испытываешь в детстве, когда найдешь, бывало, книгу без начала и конца, оказавшуюся, как назло, особенно интересной на случайно раскрытых страницах.

Быстро теплело, чернели все шире южные склоны гор, и теперь я видел старика каждый день работающим в парке. С несколькими женщинами он рыхлил землю, высаживал рассаду и луковицы, над чем-то колдовал, что-то мастерил. Я пытался, и не раз, возобновить наш разговор, но он, занятый делом, отвечал односложно и не по существу, точно отмахиваясь. «Завтра будут у нас розы, послезавтра — опять рассада». Или: «Завтра у

нас — пустырь за родником, послезавтра — тут георгины». Он повторял без конца: «завтра — послезавтра». И я, не успев услышать его подлинного имени, дал ему про себя это: «Старик Завтра — Послезавтра».

Разумеется, потом я узнал, как его зовут в действительности — Кирилл Сергеевич Дрепало, но про себя называл по-прежнему: Старик Завтра — Послезавтра. И чем больше реальных подробностей его жизни узнавал, тем сильнее любил это вымышленное мной имя, похожее на имя героя волшебной истории.

Старика Завтра — Послезавтра позвали сюда после того, как разъехались ботаники, собиравшиеся в домике лесничества близ обширного, засыпанного огромными вулканическими валунами болота. Раньше многие годы он выращивал лес в высокогорных районах. Вместе с елью, сосной, березой Старик Завтра — Послезавтра поднимался все выше и достиг тысячи шестисот метров над уровнем моря. Поэтому, видимо, на него и возложили уникальную миссию: создать один из лучших парков в республике — а, может быть, и в стране — на высоте более двух тысяч метров. От того, быть или не быть этому парку, зависело во многом будущее высокогорного селения Джермук (в переводе на русский — Горячая вода), быть или не быть ему курортом союзного, а может быть, и мирового класса. Химически воды Джермука почти не отличаются от редкостно благоприятных по целебным качествам карлововарских источников. Но одной воды мало — нужен целый город с санаториями, ресторанами, эстрадами, разнообразием улиц, витрин, огней... Строить можно и на большой высоте, а вырастить парк? Парк, который бы «стягивал» к себе весь город...

Попробуйте вообразить аллегорические фигуры Экономики, Эстетики, Этики — именно они в то время и окружали, как рисуется мне сегодня, мрачную топь с

тысячелетними валунами, ожидая решения собственной участи. Я первой назвал Экономику, но, несмотря на отчетливо заманчивые экономические перспективы, которые открывало рождение большого, с мировым именем, курорта, видимо, центральной была в этом воображаемом содружестве аллегорическая фигура Этики, олицетворявшая ни с чем не сравнимые ценность и радость исцеления. И вот стояли они у болота, а в реальном домике совещались реальные ботаники.

После этого и появился Старик Завтра — Послезавтра с женой и двумя деревьями: елью и березой. «Стоит ли зажигать звезду, о которой хорошо известно, что она погаснет, не успев вспыхнуть?»

Ботаники на совещании высказывались по двум вопросам. Первый был строго конкретным: можно ли на этой высоте, в этой местности, построить обширный парк, состоящий из многих сотен ценных видов деревьев и растений?

Большинство ученых выразили серьезные и обоснованные сомнения: изменчиво-мимолетна «полоса тепла», не успеют распуститься, расцвести растения, без которых парку не обрести красоты и разнообразия.

Второй вопрос был более отвлеченным: стоит ли затрачивать колоссальные усилия (болото, вулканические камни, две тысячи сто над уровнем моря и т. д.), чтобы создать нечто живущее явственно два с половиной — три месяца в году, а остальное время остающееся «вещью в себе», требующей от окружающих самого активного внимания для поддержания запасов жизни? Метафорически этот вопрос формулировался в образе звезды, которая...

Отношение мое к Старику Завтра — Послезавтра и его работе тоже можно было разделить на эти два вопроса: конкретный и отвлеченный. Как и большинство моих современников, избалованных чудесами, лежащи-

ми на поверхности, я не особенно восприимчив к чудесам, совершающимся, так сказать, в более глубинных сферах жизни. И не вызывает у меня большого доверия версия, по которой сонм ученых говорит «нет!», а обыкновенный лесовод не говорит — совершает! — «да!». По существу, я отнесся к этой истории, как к легенде, игре фантазии местных фольклористов, воодушевленных колоритной фигурой Старика Завтра — Послезавтра.

Гораздо больше волновал меня второй, отвлеченный вопрос: о звезде. Это, по-моему, один из самых глубоких и «вечных» философских вопросов. Но родился он намного раньше, чем родилась философия. Видимо, он неосознанно мучил и баснословного пращура, пытавшегося добыть искру из деревяшек и решавшего тяжко, не стоит ли подождать молнии, которая воспламенит сухие ветки ближнего дерева? Тысячи лет этому сомнению, и остается оно, к счастью, сомнением, потому что каждый раз человек находит в себе силы стать выше его.

Решая: быть парку! — Старик Завтра — Послезавтра ответил на вопрос о смысле жизни, о высших целях человеческого существования.

Да, стоит зажигать звезду, потому что, погаснув, она возгорится снова, опять. Этого великого «опять» не понимает и никогда не поймет голый рационализм, строго, с арифметической точностью соотносящий затраченные усилия с ближайшими результатами.

Шумела водопадами поздняя высокогорная весна, и под этот шум парк оживал все отчетливее. Еще не было красок, кроме тех, ранних: зеленой — травы и хвои — и черной — земли, но все явственнее вырисовывалась композиция (круги, квадраты, игра изящных линий...), форма опережала цвет, как и должно быть в любом рож-

дении. И чувствовалось, что настает та высшая минута, когда полнота жизни обнаружит себя и в цвете.

Самая напряженная пора посадок была позади, Кирилл Сергеевич стал чуть словоохотливее. Кроме традиционных «завтра — послезавтра», он сообщал мне — разумеется, весьма лаконично,— что сумел доставить с высокогорных пастбищ хорошо унавоженную землю и получил из далекого питомника долгожданные редкие семена неприхотливых к теплу гладиолусов...

Весна шумела, ширилась, на южных склонах хребтов уже сморщились фиалки, и все говорили, что вот-вот зацветут большие маки («яркие, как на картинах Сарьяна»), и все шло хорошо. Старик Завтра — Послезавтра носился по парку, колдовал, смеялся. И в это время, когда никто не ожидал ее, разразилась беда.

Через восточный хребет перевалила низкая туча, небо сплошь потемнело, к вечеру пошел снег, утром мела метель — белая, жестокая, сухая, столбик ртути упал до десяти ниже нуля. В последних числах мая вернулась зима.

Я стоял у окна, за которым было непроглядно бело, и думал о Старике Завтра — Послезавтра. С беспощадной подлинностью ощущал я незащищенность его звезды, которую задувал этот ледяной, бьющий наотмашь ветер. Метель гудела; и если бы я верил в нечистую силу, то решил бы, что все это бесчестные проделки Мефистофеля, который, как известно, окончательно потерял покой с тех пор, как Фауст вздумал осушать болота.

В союзе с нами против вас стихии,
И ты узнаешь силы
роковые...

Нечего было и помышлять о том, чтобы выйти из дому в легком плаще. И вот однажды, когда я сидел у

белого окна, ожидая, пока утихнет метель, мне рассказали историю, будто бы выхваченную из растрепанного, зачитанного до дыр тома Андерсена,— историю о том, как город Джермук каждый год празднует день рождения Старика Завтра — Послезавтра. Я слушал и видел ослика — он как бы вылупился из вьюги,— увешанного охапками цветов; эта большая живая клумба с милой, простодушно-лукавой, кроткой мордой открывала шествие, такое неожиданно живописное, яркое, странное, что я, не отрываясь от него мысленно, несколько минут не замечал метели. За осликом шли дети с розами, георгинами, астрами, гладиолусами, мужчины, женщины... Они направлялись к парку, где в тенистой аллее были накрыты столы, чтобы поднять стаканы вина за Старика Завтра — Послезавтра.

Когда видение это исчезло и окно опять стало бессодержательно белым, я заметил откровенно и невольно бестактно человеку, который рассказывал мне о днях рождения Кирилла Сергеевича — мэру Джермука Завену Георгиевичу Вартаняну:

— Это чересчур красиво. Не похоже на явь.

— «Не похоже на явь»,— повторил он.— А то, что он совершил, похоже на явь?

— Пожалуй,— согласился я,— это больше похоже на чудо.

— Не верится? — понимающе посмотрел он мне в лицо.— И не вам одному. Этому действительно нелегко поверить: старик лесовод оказался умнее ученых. А он не умнее, нет, чудо не в уме — чудо в любви. Умнее они, потому что все измерили и учли: и высоту, и сроки созревания, и направление ветров, и капризы погоды... Но есть вещи, которые трудно измерить и учесть. Вот, я читал, все газеты мира рассказали об англичанине: на седьмом десятке в легком суденышке один он пошел вокруг света... Это, конечно, достойно большого уважения,

потому что показывает и мне и вам, на что способен человек. Но больше величия в том, чтобы тоже на седьмом десятке, оставив родной дом, родной лес, подняться сюда и совершить невозможное. А замечательно это невозможное тем, что состоит, в сущности, из обыкновенных возможностей. Ложиться каждый раз за полночь и подниматься в шесть, писать во все питомники страны, собирая семена и черенки, построить у себя опытную оранжерею и еще раньше — до черенков и оранжереи,— когда вся техника вышла из строя, ворочать камни и усмирять топь собственными руками. То, что кажется невозможным, рождено любовью. К родной земле, к человеку. Парк ярко цветет два с половиной, может быть, три месяца в году. Но и в остальное время он держит наш город. Такая в нем сила. Вот мы и отмечаем день рождения Кирилла Сергеевича, как большой день города.

Дня через два «силы роковые» утихомирились. Но снег еще лежал, медленно оплывая. Теперь парк стал трехцветным: белым, зеленым и чуточку черным.

Старик, наклонившись, погружал руки в оживавшую землю. С болью ожидал я увидеть горестное, отчетливо постаревшее лицо, но он еще издали широко улыбнулся мне, будто успокаивая, утешая.

И я вдруг подумал, что бабка его, из молокан, сосланных Екатериной с Херсонщины, шла сюда, в Армению, с семьей пешком три года, а он в наш сверхскоростной, сверхреактивный век поднимался вместе с деревьями на эту высоту семьдесят четыре.

— Высадим тут новую рассаду,— закричал он мне,— а завтра раскутаем розы!..

— А послезавтра? — попытался я улыбнуться.

— Будет и послезавтра,— ответил он мне без улыбки, строго.

Я повел читателя высоко в горы, в этот парк, потому

что в нем особенно хорошо думать о большой тайне человека — соотношении в нем творческого и нравственного начал. Поняв что-то в этой тайне, мы уже не будем удивляться тому, что только бескорыстию удавалось великое. Мы начнем воспринимать это как нечто непреложное, обладающее силой закона. И кажется мне, нет на земле лучшего места, чтобы размышлять об этом, чем парк, созданный стариком Завтра — Послезавтра.

Великое рождалось бескорыстием, потому что бескорыстие — живой источник силы.

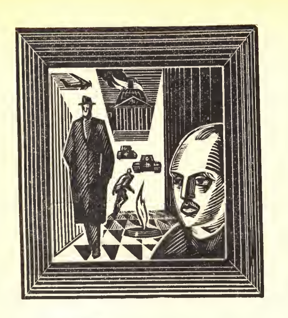
Соотношение в человеке творческого и нравственного начал нельзя выразить математически точно, оно не может (я имею в виду сегодняшний уровень понимания человека) воплотиться в формулу, подобную $E=MC^2$. Но в том, что оно существует реально, убеждают нас не одни великие романы и тома по истории, убеждает и наша собственная жизнь. Кто из нас не терял себя творчески, делая вольно или невольно зло?

И кто из нас не чувствовал себя особенно сильным в минуты, когда сердце открывалось человеку и человечеству?

В вышедшей несколько лет назад книге я размышлял на тему: «большое сердце — большая фантазия». Под «сердцем» я имел в виду этические достоинства человека, под «фантазией» — творческую силу. Фантазия богата у тех, утверждал я, кто обладает большим сердцем.

Дзержинский писал о творческой любви к человеку. Революционеры хорошо понимали величие обновляющей мир творческой любви к человеку и человечеству — эта любовь и делает сердца и руки талантливыми.

Безумство храбрых венчает победа, когда фантазию питает сердце.



Слепые месторождения золота

Бой идет... не ради славы,
Ради жизни на земле.
А. Твардовский

Поезда через Серебряные Пруды в сторону Москвы ходят вечером и рано утром. Я опоздал к последнему вечернему поезду, и Трофимыч посоветовал мне переночевать у местного лесника Ивана Романовича Демченко.

Перед этим в течение двух суток я разъезжал в санях по растаявшим днем и обледенелым ночью дорогам Серебряно-Прудского района. Я искал человека с интересной военной биографией, о котором стоило бы рассказать в газете накануне Дня Советской Армии. Мой блокнот был исписан до последних страниц.

Жалостливо понукая усталую лошадь, Трофимыч повез меня к леснику. Во время наших странствий этот подвижной, худощавый старик развлекал меня всяческими историями, подобно всем возницам, выведенным в русских рассказах и повестях.

И сейчас, как только мы тронулись по дороге в лес, он начал:

— Вам, конечно, интересно узнать, почему места наши называют Прудами, да еще Серебряными. История эта давнишняя. Лет, может, двести, а может, триста назад царица Екатерина Вторая возвращалась с юга к себе, в северный Зимний дворец. Возвращалась она, конечно, не одна, а с графом Потемкиным. А края наши в то время, как деды рассказывали, были сплошь болота да дикие леса. Болот ужасно много было, куда ни ступишь — топь... Царице это, конечно, не понравилось. А Потемкин ее успокаивает. День был, видно, ясный, солнечный, в болотах отсвечивало, граф и говорит: посмотрите, мол, уважаемая, разве это болота, это пруды; видите, небо в них играет серебром, и назвать их поэтому должно Серебряные Пруды. Напел он ей про небо и серебро, и согласилась она с ним. Женщина... Так и назвали: Серебряные Пруды.— Старик помолчал, потом, повернув ко мне бородатое лицо, доверительно добавил: — Умирают болота.

— Как умирают? — не понял я.

— Научного объяснения я вам, конечно, дать не могу. А если не по-научному, а обыкновенно, по-человечески рассудить, то я объясняю это явление так: детей

много народилось. В наших Серебряных Прудах детей — великая сила. Даже в военкомате на докладе для офицеров запаса товарищ из райисполкома об этом говорил. Мол, в согласии с цифрами одна третья часть населения наших Серебряных Прудов народилась после войны. А тут уже одно из двух: либо дети, либо болота...

Мы уже ехали по лесу. За темными соснами показались желтые пятна окон.

— Это и есть тот самый дом,— сказал старик.— Тут и отдохнете.

Едва подкатили сани, с крыльца торопливо сбежал человек в накинутом на плечи полушубке и, пожимая мне руку, широко улыбаясь как старому знакомому, назвался:

— Демченко, Иван Романович, лесник.

Втроем мы вошли в дом. Навстречу нам, в кухню с жарко натопленной печью и накрытым к ужину столом, вышла из комнаты женщина лет сорока; она вела перед собой сонную босую беловолосую девочку.

— Раздевайтесь, пожалуйста,— сказала женщина.— И не думайте, что обеспокоили. Мы еще не укладывались. Иван Романович незадолго до вас из лесу вернулся. Сейчас молоком вас напою...

Говорила она негромко, певуче. И жесты ее, походка тоже были тихи и словно певучи.

— Дом у нас большой,— заговорил Демченко с веселым радушием,— гости бывают часто. Летом писатель из Москвы два месяца жил, о наших лесах роман писал.

— Погоди ты,— остановила его жена,— может, человек и не лесом вовсе интересуется.

— Да как же это возможно, чтобы в лесу да не лесом интересоваться! — удивился он и, усадив меня за стол, стал рассказывать: — В этом году лиственницы и дуба посадили мы три гектара...

— Кормит соловья баснями,— усмехнулась жена, подавая ужин.

— ...Кроме того, липы гектара полтора, не говоря уже о деревьях в питомнике, это статья особая, надо самому увидеть...

Он рассказывал мне о вековых, воспетых в былинах и старинных разбойничьих песнях местных лесах, и мне казалось, что я слышу гул сосен, и слова хозяина долетали до меня уже сквозь сон. Очнулся я оттого, что чья-то рука коснулась моей.

— Отдохните, я постелила...

— Ты понимаешь, что говоришь! — возмутился Демченко.— Человек утром уедет и леса нашего не увидит!

— Пожалей человека...— начала было жена, но лесник решительно остановил ее на полуслове:

— Я дам ему валенки, полушубок. Будет хорошо.

Одевшись, мы вышли под низкое безлунное небо. Ночь была полна снега и облаков. В сыром, туманном воздухе смутно чернели деревья. Миновав санную дорогу, мы пошли, утопая по колено, снежной целиной. Я с трудом поспевал за Демченко; он почти бежал, с силой вытаскивая ноги из сугробов, работая руками и туловищем, точно пловец, борющийся с быстрым течением. Он повел меня к окруженной легкой изгородью открытой поляне. На ней редко стояли высокие деревья и едва вырисовывались в сером полусвете тонкие ростки. Мы остановились, перевели дыхание.

— Это наш питомник,— заговорил Демченко и, точно опасаясь, что я не пойму его, пояснил: — Питомник — научное название. А если душевнее, то детский сад или школа. Только растят в ней не детей, а деревья. Есть у нас тут и маньчжурский орех, и китайский лимонник, и одно растение, очень редкое для московской земли...

Он подошел к низкому незнакомому деревцу и опустился перед ним на колени, уйдя по плечи в снег. Лицо его оказалось вровень с маленькими темными листьями; он осторожно оторвал один, зачем-то потрогал его губами и посмотрел на меня с торжеством.

— Каучуконос!

Потом поднялся весь облепленный снегом и молча повел меня дальше. Теперь мы шли медленней. Демченко, наклонив голову, осторожно растягивал маленький темный лист. Обнажились тонкие упругие нити.

— Будет жить,— решил лесник.

И стал развивать полюбившуюся ему мысль:

— Питомник — это, говорю вам, наподобие детского сада или школы. Вы посмотрите вот на маньчжурский орех или на китайский лимонник. Выходили мы их, вывели в люди. И теперь можно бережно, с комом родной земли послать хоть близко, хоть далеко. И будут расти на новом месте на пользу людям... А сейчас пойдем в рощу. Я покажу вам корабельную лиственницу, деревья редкой красоты. Будете стоять среди стволов, и покажется вам, будто плывете вы по морю в тумане...

В этом человеке я все отчетливее замечал что-то отличавшее его от многих известных мне лесников. Те были строже и при самой большой увлеченности делом лишены этой юной взволнованности: для них лес был работой. У Демченко же в отношении к деревьям чувствовалось изумление ребенка, первый раз в жизни попавшего в большой лес и еще не решившего для себя: сказка это или явь. В то же время и он работал — сажал и «выводил в люди» деревья.

— Давно трудитесь в лесу? — поинтересовался я.

— После войны начал.

— А до войны?

— До войны воспитывал собак для уголовного розыска.

Мы вошли в Корабельную рощу. Сказочно было среди частых стройных стволов, касавшихся верхушками низкого белого неба. Тускло отсвечивали снега, минутами тихо темнея от опустившегося на рощу облака; в легких, белесых, точно разбавленных каплями молока, сумерках чернели деревья.

— Нет, собак я не разлюбил,— сказал Демченко,— это животное замечательное.— И вдруг, остановившись, заговорил тихо, с душевной силой: — Жаден я был. Все хотел испытать в жизни. От собак ушел в трамвайное депо. По токарной части. Оттуда — на фабрику. Делал игрушки для детей. На угольной шахте тоже работал. И был помощником машиниста на железной дороге. Думал, хоть тут, на колесах, душа успокоится. Нет. Снова заскучал. Душа у меня была вроде капризной птицы. Сначала крылом взмахнет, а потом уж озирается, куда ей лететь. Мотался я по жизни и сам не понимал, чего мне от нее надо.

Мы пошли дальше. Облака, видимо, стали реже: усилился блеск снега, резче ложились тени.

— Через лес я лучше понимаю свою жизнь,— снова заговорил Демченко.— Вот он стоит и не шелохнется, будто заснул надолго или даже умер, а в нем самом столько сил сейчас струится, что, выйди они наружу, завертелись бы вокруг нас с вами веселые вихри. Однако земля от этого не стала бы красивей. Вот и жизнь моя в молодости была наподобие веселого вихря. И думал, ничто меня не остановит. Деревья же потянуло сажать после войны. И не потому, что я устал. Дело это было мне поначалу труднее, чем любое из той моей довоенной озорной жизни. Выгоды тоже не видел: на собаках мог зарабатывать раз в пять больше. А началось так: жил я в деревне, поблизости, отлеживался после фронта, и вижу однажды, старик сосед подле меня сажает яблоньку. Она хилая, жалкая, похожа на детей военной

поры. Будто, как и они, на мерзлой картошке росла. Помог старику посадить это слабое дерево, вернулся в избу и затосковал...

Он говорил все тише, все сосредоточеннее, покоряясь медлительному течению ночи, залитой до туманно-синих разрывов на небе неярким сиянием снега. И мне все труднее становилось вообразить этого человека в ином освещении, в иной обстановке. Он сейчас был удивительно на месте. Казалось, ночь, роща, облака утратят какую-то часть красоты, не иди он по этому снегу, среди этих деревьев.

— А не жаль вам, Иван Романович, что вы нашли себя в жизни, когда вам перевалило уже за сорок?

— Ничего не поделаешь, дорогой товарищ, это и у деревьев так: одно на втором году плодоносит, а иное и на десятом...

Роща кончилась. Белую землю обступила полукольцом тающая в утреннем тумане темная масса лесов. А ближе, перед нами, одиноко чернела ровная стена елей. Мы подошли, и оказалось, что эта живая стена не одинока, что самый смысл ее существования несовместим с одиночеством. В глубокой мягкой тени, падающей от елей, укрылись от ветра и ожогов мороза еле видные кусты смородины, юные деревца сливы, молодые яблони.

Бесстрашно погружаясь в снег, весело размахивая руками, Демченко подбежал к самой раскидистой яблоне. Он опять стал похож на мальчишку, которому к тому же запала в голову шалая мысль: а не сохранилось ли чудом на этих нагих ветвях большое желтое яблоко, защищенное от вьюг высокими елями? Подбежав к дереву, он оглядел его снизу доверху и повернул ко мне ликующее лицо.

— Летом ребята не успевали обрывать. Яблок было — корзинами уноси.

Красивый узор тонких ветвей отчетливо вырисовывался на фоне ночных облаков.

— Я считаю,— заговорил он,— что яблоки в нашей стране должны быть бесплатными. Ради детей. И еще до того, как полностью коммунизм построим.— И усмехнулся.— Попробуй достигни этого!.. Женщины, они тоже не отстают!

В памяти моей ожил рассказ Трофимыча об умирании местных болот. Несмотря на всю «ненаучность», в нем была большая доля здравого смысла. Много детей — много садов. Сама жизнь велит человеку — осуши землю.

Утром я уехал в Москву. А через неделю получил письмо из Серебряных Прудов от лесника Демченко:

«Вы меня извините, товарищ корреспондент! Когда вы уехали, жена как следует выругала меня, что не дал вам отдохнуть и надоедал моими байками о лесе. И Трофимыч, когда узнал о нашем разговоре, тоже сердился. Я, конечно, понимаю ваше разочарование и еще раз извиняюсь. Но, будучи сильно утомлен, я не сообразил, что вас интересуют военные биографии жителей Серебряных Прудов. Должен еще раз разочаровать вас: героем я не был и не являюсь и больших наград не имею.

Теперь, чтобы вы не обижались, сообщаю мою военную биографию. Вначале меня использовали в армии как инструктора служебных собак, но потом я стал артиллеристом-наводчиком, потому что хотелось мне бить врагов нашей Родины не через собак, хотя они и есть верные друзья человека, а самому лично. И в составе третьей гвардейской дивизии, как наводчик-артиллерист, в 1942 году я был влит в 62-ю армию, которой командовал генерал Чуйков и которая героически защищала наши рубежи на Волге.

Но, к сожалению, через несколько месяцев я был тяжело ранен. За городом Котельниковом наступали на

нас фашистские танки. Два танка, которые шли на меня в упор, я подбил, и они были объяты огнем, но в эту самую минуту на мое орудие навалился с левого фланга третий, и я только успел упасть в щель, а он накрыл ее и загремел надо мной, ужасно близко от моей головы. Я быстро поднялся, но был уже ранен, хотя и не потерял сознания. И тогда я нашарил две гранаты и вгорячах кинулся с ними вслед тому уходящему танку. И разорвал его гусеницы. Но тогда я был уже сильно ранен, весь измочален осколками.

На счастье, ко мне подбежал наш пехотинец, нагнулся и говорит: «Ты погиб?» Я отвечаю, что не погиб, а он, чудак, не верит. «От тебя,— говорит,— друг, почти ничего не осталось». Однако собрал он меня и понес, а я потерял сознание. И на этом, товарищ корреспондент, заканчивается моя военная биография. В госпиталях врачи вернули мне жизнь, и сейчас я употребляю дорогую жизнь на то, чтобы сажать леса.

Вы не обижайтесь, что всю эту историю я не рассказал вам сразу. Есть много других, более интересных предметов для мужского разговора. Недавно я встретился с маршалом Чуйковым, который является уроженцем наших мест и часто наезжает сюда в гости к своим престарелым родителям. И мы тоже не говорили о войне, о боях, в которых участвовали, а только о лесопосадках, о нашем питомнике и о садах.

Кланяюсь вам и жду к себе в гости. Лесник Демченко».

О чем думаю я сегодня, когда память моя воскрешает образ лесника из Серебряных Прудов? О скромности, которая настолько неосознанна как скромность и потому беззащитна, что чувствует себя даже... виноватой? О радости самозабвенного растворения в новом

деле, когда начисто забываются былые труды и заслуги и есть лишь сегодняшнее, самое дорогое, поглощающее душу без остатка? О потрясающем нечестолюбии,— ведь не помнится то, что должно быть постоянным источником и гордости и воспоминаний? Да, об этом я думаю, конечно. Но больше — о поздней любви, о том, как иногда «за сорок» неожиданно и прекрасно раскрывается человек.

Человек — самое непредвиденное существо, и в этом его вечное, чуть загадочное обаяние. Бывает, писатель, на которого давно махнули рукой, пишет умную большую книгу. «Городской сумасшедший» наперекор иронической молве изобретает не вечный двигатель, а нечто обладающее совершенно реальной ценностью... Человек, мотавшийся суетно по жизни, навечно остается в лесу — вынянчивать терпеливо редкие деревья — и через них понимает и мир и себя.

Но содержательная человеческая жизнь выявляется не только в книгах, картинах, изобретениях, лесопосадках. Мягкий и будто бы робкий человек поражает окружающих большой твердостью характера; тугодум — неожиданно быстрой и блестящей игрой ума, нелюдим — широкой, деятельной добротой. Не будь подобных «странностей», жизнь утратила бы многое в новизне и остроте, и, наверное, мы меньше любили бы людей. С особой силой непредвиденность человека выражается в поздней любви, когда совершенно единственное, абсолютно уникальное, то, что из трехмиллиардного человечества заключено в нем одном, выявляется лишь к концу его жизни.

— Если бы я умер в пятьдесят пять от первого моего инфаркта,— говорил мне старый добрый чудак, энтузиаст-краевед, открывший у себя в маленьком городе замечательный музей,— моя судьба не состоялась бы и моя жизнь не была бы завершенной.

— А жизнь ваша не будет завершенной никогда,— высказал я ему в ответ одну из самых любимых моих мыслей. Она не будет завершенной, подумал я, уже про себя, потому что поздняя любовь не терпит завершенности. Завершенность возможна лишь в первой любви, но не в поздней, когда последняя полнота выявления оказывается недостижимой: чересчур насыщена, даже пересыщена личность тем, что заждалось и требует выражения. Иначе и не было бы ее, поздней любви...

Что же это за феномен: деятельное выявление лучшего, что заложено в человеке не в первые послеполуденные часы, когда это было бы естественно, а на закате? Великое желание одарить чем-то жизнь тогда, когда твоя собственная уже пошла на убыль,— поздняя любовь?

Понять ее помогает образ позднего-позднего, непраздничного дерева, о котором Демченко, помните, говорил, что оно «на десятом году» начинает плодоносить. Вот это дерево и собирает силы по капле, сосредоточенно, терпеливо — в мудрой некрасоте нагих ветвей,— чтобы в тот час, который отмерян ему солнцем, одарить детей и землю.

Поздняя любовь — удел натур глубоких, содержательных и начисто это не осознающих. Она никогда не выпадает на долю человеку тщеславному — он растратит, раздарит, разбазарит себя по мелочам, потому что не может жить без легкого шума ежедневных похвал.

Жажда постоянного одобрения — одна из опасных форм небескорыстия и в силу выявленной выше зависимости творческой мощи от нравственных начал опустошает личность, не дает ей выявить себя в чем-то долговечном. (Один интересно мыслящий режиссер пишет о том, что актеру «технологически выгодно быть в жизни хорошим человеком», потому что он сам тот материал, из которого создает образы и, не будучи в жизни эти-

чески содержательным, не сыграет интересно ни Гамлета, ни Пьера Безухова... Я не побоюсь расширить эту несколько утилитарную формулу: любому человеку «технологически выгодно быть хорошим».)

Как видите, мысли о поздней любви — о дереве, одаряющем нас на десятом году,— по самой логике исследования духовного мира человека возвращают нас к уравнению: «Большое сердце — большая фантазия».

Большое сердце чуждо суетному честолюбию. Оно умеет ждать. Умеет забывать. Умеет верить. И только оно способно на позднюю любовь.

Но может быть самая замечательная особенность поздней любви заключается в том, что она таинственно — через десятилетия — вырастает из первой; никогда не бывает ее у тех, кого миновали бессонные ночи первой любви. Я даже рискну утверждать, что тот, у кого была большая, как небо, первая любовь, переживет непременно и позднюю.

Эта поздняя любовь может быть и неприметной, тихой. И тогда сияние первой сообщает ей новую красоту, удивительную...

Расскажу о директоре асфальтового завода в Ногинске Павле Филипповиче Симонове. Услышал я на одном совещании, что завод начал вырабатывать цветной асфальт. Никто ни в Москве, ни в Ногинске не настаивал на этом, дорожников устраивал асфальт обычный, а Симонов поставил опыты, и вот появился голубой, синий, оранжевый... Говорили о новшестве на совещании с улыбчивым одобрением, в котором угадывалась и мягкая ирония: чудит хороший человек.

Мне захотелось увидеть директора завода, который решил одарить людей голубым асфальтом, когда от него ждали только черного. Я поехал в Ногинск, познакомился с Симоновым, и, когда он рассказал мне о первой

любви, меня уже не могло удивить то, в чем окружающие видели красивое чудачество.

На рассвете от Севастополя они отчалили на товарно-пассажирском пароходе «Чичерин», перед самым отплытием был митинг — комиссар пожелал им вернуться на Родину с победой и орденами. Но о том, куда они плывут, опять ни слова.

А они этого слова ждали, ждали с горячим нетерпением, хотя и без него уже поняли все, и та заморская страна, еще не названная, вошла в их сердца и заняла там место рядом с Родиной.

Через час их всех собрали в салоне — первый урок иностранного языка. Молодой человек в больших очках посмотрел на них с чисто учительской строгостью.

— Начнем. Хлеб — это пан. По-испански.

Ночью они плыли в Босфоре.

А на седьмые сутки, перед рассветом, на горизонте развернулись огни и пошли параллельно с «Чичериным».

Утром Павел Симонов увидел разрушенные дома... дым... Испанию.

Большая деревня называлась Вилли-Майорка. После отдыха, осмотра местного аэродрома и беседы с командиром части он вышел на вечереющую улицу, услышал оживленные голоса, красивый чужой язык, песни, будто бы нет войны и не полыхает — рукой подать — Мадрид.

К нему, улыбаясь по-южному ликующе-доверчиво, подошел старик с бутылью вина и стаканом в крестьянских, обугленных на солнце руках, кивнул головой на восток.

— СССР? — Он выговаривал буквы отчетливо, как ребенок, вчера научившийся читать.

— Ага,— широко улыбаясь, ответил Симонов, любуясь этим незнакомо красивым и в то же время простым лицом. И добавил, так же отчетливо выговаривая каждый слог:

— Ком-му-нист.

И старик часто-часто, радостно закивал: понял, понял.

Когда Павел Симонов вылетел бомбить фашистский аэродром, перед ним стояло все время, как живое, лицо старика, и он не чувствовал себя на чужбине.

Было это давным-давно...

По двору небольшого завода идет пожилой человек, ступая твердо, как ходят моряки и летчики, люди с особой остротой тоскующие иногда по земле.

Он не спеша обходит всю «технологическую нитку» — склады, бункеры, смесители, лаконично, по-военному, переговаривается с рабочими и шоферами, вдыхает с наслаждением горячий запах свежего асфальта — вкусный запах молодых дорог.

Обеденный перерыв... Не все уходят в столовую, молодые рабочие разворачивают узелки с хлебом, колбасой, молоком. И один из них, заговорщицки подмигнув товарищам, обращается к тяжело ступающему человеку:

— Павел Филиппович! Пополдничайте с нами.

Человек останавливается, улыбается смущенно:

— Жена ждет, Вася. Отдыхайте... Хлеб вам да соль, как говорили в старину.

— А как по-испански хлеб, Павел Филиппович?

— Пан...

— Пан,— повторяют рабочие. Они часто обращаются к директору с вопросом: как по-испански дерево... небо... любовь. И каждый раз странно и волнующе слышать от немногословного, сурового на вид директора незнакомые песенно-красивые слова.

Он идет дальше, мимо доски показателей, мимо портретов ударников коммунистического труда, в кабинет, раскрывает папки с деловыми бумагами.

На столе под стеклом лежит заметка, вырезанная из технического журнала,— «Цветной асфальт».

Если добавить мраморную крошку, асфальт будет синим, или голубым, или желтым. Это особенно красиво на берегу моря, в парке.

Он и сейчас видит испанские сны — Гвадалахару, Мадрид, Барселону. Видит путаницу в ночном небе, внизу — фашистская конница в парке, близ Мадрида, ее надо разбомбить, и вот, на его счастье, восходит луна, он посылает бомбы в видимую цель и уходит. Он низко летит над землей, видит, как блестит галька, садится, к самолету подходит старик крестьянин...

А утром директор обходит заводские владения.

Поздняя любовь...

Теперь расскажу историю о человеке и о флаге.

Сначала о флаге: он самодельный, не из алого легкого шелка, а из куска старой, непарадной ткани, найденной на улицах разбитого войной Берлина весной в сорок пятом. Написаны на нем химическими чернилами номер воинской части и фамилия — Япаров.

Этот флаг был установлен на одной из колонн у входа в рейхстаг, когда за стенами его еще сидели и отбивались фашисты. Через несколько часов сержанты — разведчики Герои Советского Союза М. А. Егоров и М. В. Кантария развернули над рейхстагом алое полотнище победы.

Самодельный флаг не попал ни в один из музеев. Он затерялся в последние дни войны или в первые дни мира... Сержант Япаров был награжден посмертно.

Но и человек и флаг жили незримо для нас — в военных архивах. Их извлекли оттуда через восемнадцать лет — и появилась строка в пятом томе «Истории Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—1945».

Отрывок с этой строкой был опубликован еще до выхода тома из печати. Строка, содержащая новое для историков войны имя, поразила марийского журналиста М. Сергеева: в Япарове он узнал — по фамилии — марийца. Стал искать...

Искал и нашел — не письмо героя, даже не флаг, не его семью. Нашел самого Япарова. Живого.

Потому что Япарова не убили. Он вернулся с войны, женился, дочь его уже окончила техникум. Он живет в городе Пушкино, работает на электромеханическом заводе.

Там и застал его Сергеев.

— Читали? — показал большую статью.

Это была глава из пятого тома «Истории Великой Отечественной войны», посвященная штурму Берлина.

— Читал,— ответил Япаров.

— Внимательно?

— Да.

— А вот это? О тех, кто самыми первыми достигли рейхстага... Вот.

Япаров посмотрел на строки, подчеркнутые карандашом, усмехнулся:

— Удивительно!

— Что удивительно?

— Удивительно, что нашли вы меня через адресный стол. Буквы стоят не те. Напечатано: А. И. Япаров, а я Б. Я. — Байдемир Япарович...

— Инициалы надо изменить, пока том не вышел. Я поговорю с редакторами...

— Стоит ли шум поднимать из-за двух букв?

— Вы понимаете, что вы совершили в сорок пятом? И молчали. Восемнадцать лет молчали.

В верстку пятого тома, перед выходом, была внесена поправка: инициалы А. И. изменили на Б. Я.

Сергеева удивило и то, что из военных наград имеет Япаров только медали: «За боевые заслуги», за освобождение Варшавы и Берлина.

— А за штурм рейхстага? За флаг на рейхстаге?

Япаров смущенно пожимал плечами: командованию виднее.

Подняли в наградном отделе старые документы. Из них явствовало: сержант Б. Я. Япаров после войны был награжден орденом Ленина.

И вот через восемнадцать лет ему вручили этот орден.

Узнав об этой истории, я подумал: Япарову посчастливилось совершить то, о чем мечтали четыре долгих года миллионы наших солдат,— самым первым (история сохранила имена десяти первых) он взбежал с флагом по ступеням рейхстага. На расстоянии восемнадцати лет я ощутил счастье той минуты. Мне захотелось увидеть человека, который сам ее пережил, а потом держал это «втайне». Я поехал к нему в Пушкино.

По дороге в моем воображении вырисовывался облик застенчивого человека, с небыстрой, смущенной, немного уклончивой речью, замедленными жестами.

И вот идет мне навстречу — я ожидал его в партбюро завода — большой, веселый, шумный («А! Из газеты! Мучить будете?»), добродушно улыбающийся и удивительно молодой: не поверишь, что за сорок... Сильно, до боли, стискивает мою руку. Садимся.

И в первые же минуты я замечаю, что он и растерян и обрадован, пожалуй, больше растерян, чем обрадован, славой, похожей на горный обвал: его зовут в воинские части, школы, московская областная газета напечатала

его портрет, четырнадцатилетний поэт посвятил ему стихи.

По-русски он говорит не очень правильно, я сказал бы, пленительно неправильно, как говорят иногда в республиках Поволжья, мягко комкая слова. Боюсь, что не сумею передать особенности его речи, и постараюсь поэтому лишь сохранить ее ритм, ломающийся, как это бывает у взволнованных детей, или в стихах, насыщенных большим чувством.

— Я счастливый,— говорит он мне,— я с самого детства счастливый. Вы на лицо мое посмотрите. Чистое?

— Чистое,— соглашаюсь.

— А я оспой болел, восьми лет не было. Черной. Она, черная, лицо горячим порохом выжигает. А у меня не пошла выше плеч... Счастье?

— Счастье.

— Я и на войне был счастливым. От Курской дуги до Берлина ранило один раз, я даже в санбат не пошел. Невелика боль. Они и сейчас во мне, осколки, вот... Живу и не думаю. И работа была у меня хорошая: разведчик-топограф у артиллеристов. Я пол-России на карты перенес. Пол-Германии — тоже. И вот мы в Берлине... Упал я, помню, с понтонного моста, искупался в Шпрее. В России падали с мостов — не смеялись, а тут весна, победа — шутили... Отбили дом гестапо, вызывает меня капитан Агеенко. Командование, говорит, поручает нам достигнуть рейхстага и установить у входа флаги. А вокруг бой... Видим: матрац на улице, обит темно-красным. Содрали эту материю, порезали — семьсот на восемьсот миллиметров, палки раздобыли — чем не флаги! Захватили с собой двух ребят, на случай, убьют нас, и побежали. Но бежали мало, больше — на локтях и коленях... К рейхстагу. Потом фауст-патрон разлетелся рядом, и ранило сильно моего капитана и остальных. Вижу, одному надо идти. А идти нельзя:

бьют фаусты. Особенно один — из соседнего рва. Но перехитрил я его. Переоделся в фашистское, перекатился в этот ров и иду к тем двоим, будто бы я не я... Даже лицом изображаю фашиста. Нож у меня был отличный. Подшипник распустил в огне, опять закалил и выточил в начале войны. Сталь хороша... Да... Потом выбрался и из этого рва, переоделся опять в наше, советское, захватил флаги и быстрее, чем с горы на лыжах, побежал! Рядом, помню, смуглый, чернявый, тоже с флагом. Наверное, Кошкарбаев... Вечером поздно вернулся в штаб нашей части, а часовой, молодой незнакомый, задерживает. Говорю: «Япаров я, командир отделения». А часовой отвечает: «Убили Япарова, сейчас подали посмертно на награду». Это Агеенко, капитан, обманулся. На счастье — майор из штаба. «А, разведчик,— обрадовался,— отдохни, поешь...— И удивился: — Да ты живой! Поведешь орудия к рейхстагу. Дорогу не забыл?» Я отдохнул немного, поел хорошо...

Он помолчал и рассмеялся.

Смеялся ликующе. Я понимал: смеется от счастья, что остался жив, дважды в пылающем Берлине выполнил хорошо то, что поручило ему командование, и нежданно получил через восемнадцать лет орден Ленина.

Когда он перестал смеяться, я задал ему вопрос, интересовавший меня с самого начала:

— А вы рассказывали эту историю раньше?

— Рассказывал.

— Кому?

— Жене.

— А на заводе?

— Зачем? — пожал он плечами.— Я рассказал сейчас, потому что вам для работы нужно. Я из уважения к работе рассказал...

Потом мы говорили о его работе. Ему хотелось, чтобы я увидел, «как живую», машину, которой он управляет.

— Она большая, высокая, как дом. Сильная...— Он поднял ладонь, стукнул ребром ее по столу.

— Вот... Двести пятьдесят тонн в ударе. Металл гнется, будто бы это и не металл. Будто бы это бумажка от шоколада. Умная машина, послушная. Руки ей мои нужны, без рук моих не может. Ничего не поделаешь, не автомат.— Он говорил о ней, как о добром, сильном и немного беспомощном друге: так можно говорить, например, о любимом слоне.

Рассказал он мне и о том, что с семью товарищами работает сейчас по ночам, хотя па заводе ночных смен нет. («Оборудованию не даем отдыхать, надо за три месяца выполнить годовой план по кронштейнам, но вы не пишите об этом. Подумают, нет у нас ритма. А ритм у нас замечательный, тут документации не было раньше...»)

Расставаясь с ним, я вернулся к тому, что меня интересовало:

— А вот не удивляло вас, Байдемир Япарович, что остальные товарищи получили награды за рейхстаг, а вы нет?

— Награда была...— ответил он серьезно.— Если бы не было, я, может, и удивился бы. Но была. Нашу часть стали именовать: Берлинская... Это большая честь. И говорили: без моего флага тут не обошлось...

Возвращаясь в Москву, я думал: удивительно не то, что совершил человек (то, что он и его товарищи совершили, стало уже достоянием большой истории), удивительно то, как он к этому отнесся. Прекрасна простота этого молчания.

Современная геология рассказывает о «слепых» месторождениях. Эти месторождения расположены на огромной глубине. Они «слепые», потому что поверхность земли не открывает самому остроглазому наблюдателю тайны их существования. Обнаруживать их, ра-

зумеется, несравненно труднее, чем те, «неслепые», что лежат на небольших глубинах. Но геологи научились сейчас находить дорогу и в недостижимые ранее недра...

Думаю, что глубинными месторождениями богаты не только недра планеты, но и человеческое общество.

Я хочу, конечно, чтобы читатель почувствовал как живого моего героя. Но сам я все же пишу с ощущением, что он не узнан, не исследован мною до конца. И это тот редкий случай, когда автору даже дорого ощущение неисследованности: я хочу, чтобы оно передалось читателю. И не только в отношении к Япарову — нет, шире! В отношении ко всем, кто нас окружает. Удивительна пасыщенность и емкость современных биографий. Открытия возможны чаще, чем мы думаем.

Те, о ком я в этой главе рассказал, воплощают в себе «поэзию действия», в которой во все века революционеры видели великую поэзию бытия. Человеку действия неведом эгоизм, потому что он чувствует себя частицей человечества. Из X павильона Варшавской цитадели Дзержинский писал жене: «...родилась новая поэзия — поэзия действия, неизменного долга человеческих душ...» Это из того самого письма, где он рассказывает о радостном ощущении новизны от поездки в тюремной карете на суд за обвинительным заключением. После двадцати месяцев одиночной камеры — улицы, витрины магазинов, лица детей. «И я был сам как ребенок, как во сне». Мы опять по логике вещей возвращаемся к тому, что поэзия действия рождается из переживания жизни как чуда...



Сердце за сердце

Поспешай творить добро.
Русская народная пословица

В больничной палате лежала женщина, похожая на белую мумию. Она была перевязана широкими бинтами от пят до головы. Открытым оставалось только лицо.

Я хотел уйти; не ожидал, что ей настолько плохо. Но в этот миг от стены отделилась фигура в белом халате:

— Вы к Авериной? Пожалуйста, можете поговорить. Нам сегодня худо, но мы все слышим...

Я послушался, сел, достал письмо. Лицо на подушке ожило, подняло восковые веки.

— Тоня,— сказал я,— мы получили письмо о том, что вы вели себя находчиво и мужественно. Автор его, инспектор областного управления пожарной охраны, называет вас героиней. Вот что он пишет: «Когда в открытое окно залетела искра от электросварки, попала в шкаф с бензолом и эфиром и вылетело облачко дыма, к шкафу самоотверженно кинулись Романова, Аверина, Снигирева. Вырвались первые языки огня, женщины не отступили. Они...»

Голова в бинтах на подушке едва шелохнулась.

— Вы это письмо, пожалуйста, порвите,— сказала она.— Не вздумайте обо мне писать, что я героиня. Это неправда. Не пишите обо мне, не пишите...

— Не надо о нас писать,— как эхо откликнулась женщина у стены.

В коридоре ко мне подошел заведующий отделением, один из старейших врачей города Клина.

— Побеседовали с Авериной?

— Да. Она будет жить?

— Я же говорил вам, семьдесят процентов поверхности тела поражено ожогами второй и третьей степени. Даже, пожалуй, больше семидесяти...

— Безнадежна?

— Не терплю этого слова!

На больничном крыльце меня догнала та же женщина в белом халате.

— Я извиняюсь, но Тоня еще раз просила передать, чтобы вы не писали о ней...— Она улыбнулась виновато. Лицо усталое, должно быть от бессонных ночей, темное от солнца, в добрых морщинах.

«Наверное, дежурная сестра»,— подумал я и успокоил ее:

— Передайте, сестра, что не буду писать.
— Да я не сестра, я стеклодув. Новоселова.

Что же было раньше и что было потом?

— Передайте всем,— то и дело повторяла заводской врач Ольга Алексеевна Егорова,— ей может быть полезна кровь лишь тех, кто сам перенес ожоги. Что же касается пересадки кожи, то обгорело так много!.. Одну минуту! У вас были ожоги, товарищ? Хорошо...

Какие еще поколения людей видели столько огня! Горели города и села, железнодорожные составы и танки, леса... Минула война, зажили ожоги, забылась боль, и человек жил, не ведая, что может быть полезен, даже необходим другому человеку только потому, что когда-то огонь лизнул его тело...

До несчастья Тоня Аверина была самой веселой на заводе. Она безудержнее всех плясала и пела на первомайских демонстрациях, любила острое слово, много смеялась. И работать она умела. Отметчица ареометров — это глазомер, твердость руки, выдержка.

Слушая ее, всматриваясь в живое, вечно улыбающееся лицо, мог ли кто-либо из посторонних подумать, что эта веселая женщина росла сиротой, одна воспитывает дочь.

В тот день она с подругами, не раздумывая, кинулась к шкафу, из которого вылетело слабое облачко дыма... В больницу она ехала стоя в кузове трехтонки. Сама взобралась в машину, сама вылезла из нее. Врачам это казалось потом совершенно неправдоподобным.

Больница есть больница. Как бы она ни была хороша, там за тобой ухаживают чужие люди. Они часто душевны и добры, их начинаешь постепенно любить, но

бывают минуты, часы, сутки, когда хочешь видеть рядом только близких.

— Пошлите меня,— попросила секретаря партбюро стеклодув Екатерина Алексеевна Новоселова.— Сирота она, кто ей ближе нас, заводских?

— И нас тоже,— сказали отметчица Галина Николаевна Ермолаева и стеклодув Анна Ивановна Гриднева.

Был составлен график дежурств в палате Авериной.

Надо понять, что это — ухаживать за человеком, чье тело — сплошная огромная рана. Легче выполнить пять норм за день. Легче вымыть полы во всех цехах...

Но трое не отходили от нее ни на минуту — Екатерина Новоселова, Галина Ермолаева, Анна Гриднева.

Аверину лечили искусные врачи В. А. Кузнецов и А. А. Шах-заде, к ней неизменно внимательны были больничные сестры и няни, и все же Новоселову — тетю Катю — никто бы не смог заменить.

Она помогала перевязывать. Ее руки, чуткие руки стеклодува, были легки и точны. И, может быть, только этих единственных в мире рук не боялось обожженное тело Тони.

Она легко, с улыбкой выполняла все капризы больного человека. И — самое, самое важное! — внушала Тоне веру в счастье после выздоровления.

Тете Кате за пятьдесят, она пережила войну, подняла без мужа двоих детей. Ее добрый голос, ее смех располагают к себе с первой минуты, ее вера в людей, любовь к жизни служат источником радости, силы. И этот источник был Тоне нужнее самых сильных, самых дорогих лекарств...

«Конечно, в больнице ее обеспечат всем необходимым,— рассуждал сам с собой заместитель директора

завода Михаил Иванович Мышинцев,— перевязочным материалом, мазями и т. п... Но ведь медицина не стоит на месте! И, возможно, в научно-исследовательских институтах уже разработано нечто, пока неизвестное, в нашей больнице? Надо искать...»

И он нашел. Он сумел получить в институтах растворы и мази, еще не выпускаемые серийно, и они помогли Тоне.

Эти первые успехи окрылили Мышинцева. Он захотел почти невозможного. Михаил Иванович узнал, что в павильоне «Медицина» на ВДНХ демонстрируется редкий экспонат — кровать для ожоговых больных профессора Вишневского. И потерял покой.

Вещь это новая, в стадии разработки, имеется в наличии только в институте и на выставке. А выставка не магазин — не купишь. Но заместитель директора не отступил. Он дошел до руководителей Минздрава СССР, рассказывал, убеждал, потрясал бумагами. И добился: из выставочного павильона медицинская новинка переехала в клинскую больницу.

За Аверину боролись не только врачи, боролись сотни людей. Широкое, доброе крыло заслонило ее от боли, от одиночества.

Однажды Тоня посмотрела на обожженные руки, всплакнула: «Как буду жить, даже постирать не смогу?..»

Наверное, ни одна жалоба не потрясла бы женщин сильнее.

— Мы купили тебе стиральную машину,— сказали они ей через несколько дней.

И Тоня поняла, что она будет жить...

Женщины, дежуря у постели Тони, увлеченно вышивали — к новоселью,— люди на заводе и о том позаботились, чтобы Тоня из больницы поехала не в старый дом.

И вот этот день наступил...

Я был в гостях у Тони в ее новом доме. Передо мной сидела молодая женщина. Она только что вернулась из Москвы с покупками. Она шутила, смеялась. А у окна молча стояла Екатерина Алексеевна Новоселова.

По мнению руководителей отделения ожоговых заболеваний Института имени Склифосовского, выздоровление Авериной — редчайший случай.

Одно сердце хотело заслонить от огня сотни сердец. Сотни сердец не дали остановиться одному.

Не было, пожалуй, философа, писателя или моралиста, которые не высказали бы горьких вещей о человеческом эгоизме.

Эгоизм — любовь к себе — рассматривался как сама сущность человека, как основа его желаний и побудительная сила его действий. Об эгоизме писали и политические деятели, умевшие мастерски эксплуатировать это «извечное зло», и тонкие мыслители, исследовавшие человеческое сердце по видимости бесстрастно, но с тайной мукой.

Умница Франсуа Ларошфуко утверждал в XVII веке: «Когда великие люди наконец сгибаются под тяжестью длительных невзгод, они этим показывают, что прежде их поддерживала не столько сила духа, сколько сила честолюбия, и что они отличаются от обыкновенных людей только большим тщеславием».

Тщеславие — одна из самых неприглядных форм

эгоизма. Восторжествовать над ним, хотя бы на время, не дано никому...

Позднее появились философы, пытавшиеся найти возможности и формы сочетания эгоизма и альтруизма. Они выражали чаяния буржуазии, жаждавшей экономического и политического господства. Отождествляя «личную пользу» с «общественным благом», «частный интерес» с «общественным интересом», они хотели создать этику, которая была бы искусством достижения максимального счастья. Английские философы-утилитаристы, утверждая: чем больше счастливых людей будет в обществе, тем счастливее будет и оно само, надеялись наивно поставить «удовольствие», «пользу» человека на службу человечеству.

Что из этого вышло, показал Бальзак в «Человеческой комедии». Никогда еще жажда золота и наслаждений не формировали столь мощно личные и общественные страсти, никогда еще эгоизм не выступал столь победоносно, ликующе бесстыдно, в сиянии славы, как в обществе, которое надеялось гармонически сочетать «личное» с «общечеловеческим».

«Частные» и «нечастные» интересы действительно соединились, однако не в построении общего блага, а в безудержной охоте за чистоганом. Стоит сопоставить речь Вотрена, обращенную к Растиньяку в «Отце Горио», с иллюзиями утилитаристов Иеремии Бентама и Джона Стюарта Милля, чтобы понять, что такое «ирония истории», о которой говорили Маркс и Энгельс. То отождествление «пользы» с «удовольствием», которое на заре буржуазного общества выглядело относительно невинно, обернулось трагическими парадоксами в эпоху развернутого капитализма. Не потому ли и само понятие утилитаризма постепенно утрачивало возвышенно философский смысл и наполнялось совершенно реальным жестоким содержанием?

То, что доставляет удовольствие хищникам из обрисованных гением Бальзака социальных джунглей, то, в чем их естество находит пользу, отстоит астрономически далеко от «общего блага».

И современник Бальзака, немецкий философ Шопенгауэр делал горький вывод: победить эгоистическую стихию человеческого существования можно, лишь отказавшись от воли к жизни.

Но неужели личность обречена на вечное заключение в тюрьме собственного Я?! И нет ни малейшей надежды на выход? Или на бегство? И неужели не было никогда любви, самоотверженности, героизма, когда стены этой тюрьмы разрушались мощно? Неужели человек никогда не выходил к человеку, к миру, не жертвовал собой ради них? Даже самые мрачные мизантропы не осмеливались утверждать, что подобного не было в истории человечества. Большинство мыслителей, однако, видели в этом не выражение самой сущности человека, извращенной бесчеловечными обстоятельствами, а достойные восхищения, изумительные феномены. Загадкой, которую надо было решить, была для них не история человечества, а редчайшие искры величия человека.

Но в то же десятилетие, когда Бальзак завершал гигантский эпос — «Человеческую комедию», изображающую могущество денег, молодой Маркс писал в экономическо-философских рукописях: «*Коммунизм* как *положительное* упразднение *частной собственности* — этого *самоотчуждения человека* — и в силу этого как подлинное *присвоение человеческой* сущности человеком и для человека; а потому как полное, происходящее сознательным образом и с сохранением всего богатства достигнутого развития, возвращение человека к самому себе как человеку *общественному*, т. е. человечному. Такой коммунизм, как завершенный натурализм, = гума-

низму, а как завершенный гуманизм, = натурализму; он есть *подлинное* разрешение противоречия между человеком и природой, человеком и человеком, подлинное разрешение спора между существованием и сущностью, между опредмечиванием и самоутверждением, между свободой и необходимостью, между индивидом и родом. Он — решение загадки истории, и он знает, что он есть это решение».

В этих строках о «возвращении человека к самому себе как человеку *общественному*, т. е. человечному»,— ключ к пониманию самой сущности человека, для которого самоотверженность, героизм, доброта не изумительное, редкое и непонятное, а совершенно естественное. «Такой коммунизм, как завершенный натурализм,= гуманизму, а как завершенный гуманизм, = натурализму...».

И далее Маркс развивает гениальную мысль: «...упразднение частной собственности означает полную *эмансипацию* всех человеческих чувств и свойств...».

Только в коммунистическом обществе, которое отменит могущество чистогана (делающие «чернейшее — белейшим», «низкое — высоким», «трусливого — отважным храбрецом», «старика — и молодым и свежим»,— Маркс любил эти строки из шекспировского «Тимона Афинского»),— только в коммунистическом обществе восторжествует отношение человека к человеку и к миру как истинно человечное и можно будет обменивать любовь на любовь, доверие на доверие, сердце на сердце.

Эгоизм — сосредоточенность на себе — углублялся век от века, потому что человек не видел ни красоты мира, ни красоты окружавших его людей; не осознавал он, разумеется, и собственной духовной красоты, ибо сосредоточен был на себе далеко не как на существе нравственном и духовном. И так же, как торговец минералами (образ Маркса) видит только меркантильную

стоимость, а не красоту камня, потому что нет у него минералогического чувства (его чувства ограничены определенными потребностями),— и человек в обществе частной собственности и отчуждения видит меркантильную, а не духовную и нравственную «стоимость» мира. И так же, как немузыкальное ухо невосприимчиво к музыке (она не успела его разбудить), сердце, неспособное к состраданию и сочувствию, невосприимчиво к миру окружающих людей. Чтобы сердца стали «музыкальными», нужно *очеловечить* мир.

Лишь человек этого очеловеченного мира, коммунистического общества может утверждать: чувства и наслаждения других людей стали моим собственным достоянием. (Мы уже останавливались на этой мысли Маркса в самом начале нашего повествования, когда рассказывали о старом большевике К. А. Веселове.)

Чувства и наслаждения, а также, конечно, и боль.

У читателей может родиться вопрос: а нужно ли, собственно говоря, обширное это отступление после документального рассказа о том, как была спасена обожженная молодая женщина? Ведь сами факты достаточно содержательны. Да и раньше автор то и дело отступал в историю... Зачем?

Отвечу: цель настоящего повествования в том, чтобы выявить «философское измерение» в фактах действительности, в образах современников, показать их в большой исторической перспективе,— ведь в бешеном ритме сегодняшней жизни мы задумываемся над этим не часто, не видя порой дальше занимающего нас «сегодня».

«...*Чувства* общественного человека,— писал Маркс,— суть *иные* чувства, чем чувства необщественного человека». Великая формула наполняется живым содержанием, если соединить ее с лучшим, что появилось у нас после революции, а это лучшее получает

емкий философско-исторический подтекст, мы глубже понимаем его и больше ценим.

Разумеется, и сегодня не каждый из наших современников может повторить уверенно слова Дзержинского: «Настоящее несчастье — это эгоизм», но не станут ли они нормой для нашей жизни завтра?

Глава эта, как явствует из ее названия и эпиграфа, посвящена человечности, но не хотелось бы, чтобы читатель понял ее в духе прекраснодушного оптимизма,— чересчур много огня было, да и осталось в мире...

Роясь в архиве Подольского дома пионеров, я нашел старую фотографию детского джаз-оркестра. Она пожелтела, выцвела, хочется сказать: отцвела, потому что была похожа издали на большой засушенный осенний лист. И все казалось мне, пока я держал ее в руках, что она, чего доброго, рассыплется сейчас, и исчезнет единственное вещественное напоминание о том далеком довоенном дне, когда на сцене Дома пионеров смеялся, плакал маленький саксофон, ему вторили аккордеоны и ударял в медные тарелочки и игрушечный барабан худенький-худенький мальчик. У него было наигранно-серьезное лицо с чудной лукавинкой в губах, лицо, которое через секунду может стать восторженным.

Мне захотелось узнать все, что можно, о дальнейшей судьбе маленьких музыкантов этого оркестра. И сотрудница дома, нестарая женщина (до войны она тоже танцевала, пела и читала стихи в этих стенах), стала рассказывать, напряженно всматриваясь в туманные лица мальчиков и девочек:

— Контрабас — убили. Саксофон — убили. Гитара — работает агрономом на целине. Второй саксофон

ученый. Труба — пошла по тюрьмам. Аккордеон — в «Сельхозтехнике». Мандолина — учительница музыки. Второй аккордеон — погиб. Ударник? — Она замолчала.— Кажется, тоже...

— Нет! — раздался негромкий голос.— Нет... Это же Миша! Что вы?!

С кресла в углу кабинета тяжело поднялся мужчина лет пятидесяти — до этого он что-то сосредоточенно записывал и будто бы ничего не слышал,— уронил с колен на пол тетрадь и, опираясь на палки, подошел к нам.

— Дайте мне! — сказал строго и дотронулся пальцем до худенькой фигуры мальчика над барабаном — тихо-тихо, точно боясь, что тому может быть больно.— Миша,— повторил он и улыбнулся, как улыбаются иногда дети — ликующе и смущенно.

— Теперь и я узнаю его, Николай Николаевич,— сказала женщина виновато.— Забыла, что на ударных играл он...

В книге «День мира», отразившей горести и надежды планеты 27 сентября 1935 года, в ряду многих великих и малых событий отмечено рождение в городе Подольске школы художественного воспитания детей. Создал ее Николай Николаевич Гарновский, местный житель, тогда молодой музыкант, воспитанник Московской консерватории...

Но об этом я узнал потом, а в эту минуту видел перед собой ликующе-смущенную улыбку на лице уже стареющего мужчины.

Он бережно положил фотографию на стол.

— Если хотите, я расскажу вам о Мише. Вы, может быть, даже слышали его фамилию. Шуйдин. Он стал известным клоуном.

И он рассказал о судьбе худенького ударника из детского джаза. Я записывал лихорадочно быстро, ста-

раясь не отстать от живого потока воспоминаний. И думал, ломая карандаш: да это же новелла, хоть завтра печатай, ничего не меняя, расставь запятые...

Но я не стал искать для нее названия, даже не переписал ее набело, потому что понял: она мертва для меня, пока я не увижу ее героя. Да, я должен был увидеть его лицо и руки, услышать его голос, и не только для того, чтобы обогатить повествование живыми деталями. Мне нужно было понять самое главное в этой судьбе — резкое, обнаженное несоответствие между обстоятельствами жизни человека и его делом.

А увидеть его я не мог. Незадолго перед этим он уехал на гастроли в Швецию. Потом путь его лежал еще дальше, в Южную Америку. Я ждал. Мне удалось найти его старых товарищей и пожелтевшие, полустертые письма.

Он вернулся, и я пошел к нему.

С детства я люблю этот дом на старом московском бульваре. Люблю его запах, музыку, уходящую ввысь глубину купола...

Он вышел на арену с партнером. Чаша цирка наполнилась светом и смехом. Свет и смех родились почти одновременно, будто бы физически слитно, из одного источника.

Не смеялся один человек. Я не смеялся — всматривался... По арене ходил большой мужчина — тяжеловатый, в мешковатом костюме, с грубовато-несмешливым лицом. Он что-то делал, судя по оглушительному хохоту, на редкость смешное. Я не запомнил что: вглядывался в него все сосредоточенней.

Потом он вышел в чалме, с флейтой в руках. Перед ним несли корзину, из нее хищно выглядывала бутафорская кобра: он ее «укрощал». Та, женственно извиваясь, как живая, засыпала под монотонное пение флейты. «Заклинатель» скромно торжествовал победу и уже це-

ремонно раскланивался, чуть улыбаясь. Но «кобра», точно это не игра, а сама жизнь, взвивалась молнией, обнажив большие зубы, и заклинатель, забыв о флейте, мрачно показывал ей увесистый кулак. В этот миг сквозь огни и грим я увидел, узнал в нем мальчика с лукавинкой в губах.

Через три часа, когда все кончилось, я вошел к нему в артистическую уборную. Он уже переоделся, и странно было видеть его в обычном костюме, без клоунских ботинок и мешковатого платья — удивляла худощавость, резкость очертаний. Лицо (я увидел его без грима) было утомлено и нахмурено, почти неприязненно.

— Хотите писать? Надо ли? И о чем? Ну что ж! Пойдем по Москве...

Мы вышли на бульвар. Падали листья. Было пустынно. Вверху серебрилась, туманилась синева.

— В Южной Америке этого не увидишь,— сказал я для того, чтобы хоть что-то сказать и начать разговор.— Соскучились?

— М-да,— ответил он, трогая облетающий клен. Потом погладил на ходу скамью, а через минуту коснулся пальцами чугунной ограды.

Этот язык жестов, точный, немного застенчивый, напомнил мне то, о чем невнимательно, мельком я думал в цирке.

— Удивительно вы работаете. Порой будто бы и не делаете ничего, а все смеются. Как это вам удается?

Он посмотрел на меня без улыбки и нехотя начал:

— Нет, мы все время что-то делаем. Но только молча, почти без слов. А надо, чтобы вам казалось, что мы говорим. Иногда это удается. Вот в Уругвае недавно... В перерыве вошла к нам женщина. Индианка... И стала что-то рассказывать. Слушаем и, естественно, ничего не понимаем. Потом директор местного цирка

объяснил: «Она поблагодарила за то, что на арене вы говорили не по-испански, а на языке ее племени». Мы с Юрой переглянулись. Понятия не имеем о языке индейцев Южной Америки! Потом ударило: поняли... Самое дорогое, когда слышат без слов. Особенно это умеют дети...

Мы замолчали надолго. Миновали Большой театр, Охотный ряд, университет.

Я шел, думал о его детстве и видел мысленно дом, седой и зимой и летом, видел отчетливо, до трещин в старых окнах, будто бы не он, Шуйдин, а я жил до войны в этом доме и однажды утром захотел, чтобы все вокруг смеялись. Почему захотел? И вообще, что такое смех?

Последние слова я повторил вслух.

— Почитайте философов,— посоветовал он устало.— Или Большую Советскую Энциклопедию. На букву «эс». Смех...

Я не нашелся, что ответить.

Он тихо коснулся моей руки.

— Ну, вот обиделись... Я расскажу вам о Вилии... Это река в Белоруссии. Два танка перешли ее по камням в мелком месте. Ночью... Мой и Данилова. Стали в засаде. И нас обнаружили. Они молчат, окружают. И мы не открываем огня: наши позади наводят переправу через реку. Выигрываем минуты. Война нервов. И вот... «Я, братцы мои, зря спорить не буду, кто важнее в театре — актер, режиссер или, может быть, театральный плотник. Факты покажут...» Не бойтесь, я не сошел с ума. Это из Зощенко. Читаю. Хохочут. И у меня и у Данилова. Мне ведь тоже все слышно. «Пущай не поет. Наплевать на него. Пущай одной рукой поет, другой свет зажигает...» Стонут! А я после Зощенко — Чехова. И немцы точно растерялись: тише воды. Настроились на нашу волну, рассказывал потом пленный, и не

могут понять: почему смеются? А я опять Зощенко... И тут ударили они. Мы ответили. Наши уже переправились. И начался бой за Сморгонь. А в Сморгони генерал Асланов обнял меня: «Ну, уморил, дьявол!» Он не мог жить без улыбки. Он мне за смех танк подарил...

И умолк на полуслове, ушел в себя, плотно сомкнул губы. Даже остановился. Мы были на Каменном мосту, на самой его середине.

При упоминании о подарке генерала во мне ожило то, что я слышал или читал раньше о моем собеседнике. И опять я подумал о доме его детства, потому что все началось в нем до войны...

Дом стоял в ста шагах от цементного завода. Белая пыль лежала на листьях деревьев и на платках матерей. Она была даже на хлебе и вязла во рту.

Этот седой дом называли «домом вдов» — женщины поднимали в нем детей без мужчин. Он был на самой окраине, отделен от мира железной дорогой, заводом и оврагами. Мальчишки гордились этой обособленностью и мстили за нее.

Но однажды у них оказалась гитара. Кто-то забыл ее во дворе. Может быть, нарочно? Наверное, это был Гарновский. Добрый гений детей города.

Ребята по очереди неумело перебирали струны, пока у одного они не зазвучали трогательно и стройно... Потом Гарновский позвал мальчиков и подарил им контрабас, трубу, мандолину и целое сокровище — маленький аккордеон... Играл, играл оркестр — джаз «дома вдов»!

Можно ли забыть улыбку Гарновского? Он идет, идет, опираясь на палки, земля медленно уступает его усилиям. Лестница! Ступенька, ступенька... Он ви-

дит мальчишку и улыбается. Ступенька, ступенька... И мальчишка теперь не заплачет, даже если будут ломать ему ребра, если только он настоящий мальчишка. Что же за сила в улыбке?

А смех? Мальчишки играют серьезные, как идолы. А ты с вывертом, с фокусом, состроишь рожу — ребята падают на пол. А потом самому странно... Или идешь на руках с важным видом. И уже не можешь жить без того, чтобы не смеялись вокруг...

Позвал тебя Гарновский играть на ударных инструментах в джазе Дома пионеров — лучшем в городе. Ты потащил за собой товарищей. Солнце вашей мальчишеской славы взошло высоко. Но один человек ревновал тебя к ней...

Как и у всех девчонок в поселке, на ее волосах лежала легкая пыль. Она пела, ходила в Дом пионеров и тоже выступала в концертах. А тебя не любила за то, что твои фокусы и выверты имели бо́льший успех, чем ее хорошие, серьезные песни. И ее, единственную, ты не мог рассмешить. Но тебе хотелось, чтобы она рассмеялась. И ты начал читать уморительные рассказы Чехова, Зощенко.

А потом пошел в ФЗУ, а оттуда на завод. И если бы не война, стал бы хорошим, даже отличным рабочим. Это у тебя было в руках с детства. Ты любил печь хлеб, тачать сапоги, мастерить табуреты...

— А с вами можно молчать...— Он коснулся моей руки.— Ничего...

— Что ж...— ответил я.

Мне было не скучно молчать с этим человеком: я узнал о нем почти все, пока он странствовал по земному шару. Можно и помолчать, заново переживая события.

...В начале сорок третьего Асланов дал ему отпуск на два дня. Танковая часть стояла за Тулой. Он поехал домой.

Вечером шел снег, было хорошо. Он вышел погулять. Услышал: «Миша! Миша!» И увидел: бежит девушка с радостным, красивым лицом. Это была она, чей смех он в детстве хотел услышать. Он ей рассказал о себе. «Веришь ли, Асланов мне танк подарил!» — «Разве это дарят?» — удивилась она. «Но ты пойми, новые танки получают старые, заслуженные офицеры. А я необстрелянный, из училища».— «А за что подарил?» — «А я в первый же вечер выступил на концерте в нашей части. С Чеховым... Генерал услышал и подарил».— «А что ты читал?» И тогда он отпахнул полушубок, они сели на скамью, засыпанную снегом, и он стал читать «Хирургию». Девушка смеялась до слез. Это было как объяснение в любви.

— Теперь вы смеетесь,— сказал он мне.— Это уже мистика: двое стоят на мосту, молчат, и один начинает смеяться? Я расскажу вам сам. Хотите, расскажу об Асланове? Это был удивительный человек. Он ходил в танковые атаки на «виллисе». Понимаете? Это то же, что идти обнаженным в ряду рыцарей, закованных в латы. Надо чувствовать, что ты бессмертен. Как бог. Он подарил мне танк и говорил, что после войны смеха в жизни будет больше, чем солнца. Его убили в Литве, у самой Германии. Меня уже не было в части. Я лежал в госпитале — обгоревший, как головешка, слепой...— Он широко посмотрел вокруг — на огни города, осенние сады, темную воду.— Вы слыхали о новой науке — бионике? Она хочет узнать, почему птицы никогда не ошибаются в выборе пути. Летят, летят и долетают. И садятся в Африке, а не в Индии. Без компаса и кар-

ты. Это действительно чудо. И наука это объяснит. Но сам я никогда не пойму, что было со мной. Помню одно — ослепило. Очнулся в санбате, в бинтах. Но между моим сожженным танком и нашей частью было пять тысяч метров. Лес, поле, холмы. И я был один, слепой... Может быть, добрался в беспамятстве, на ощупь? По танковому следу? Но ведь не только лицо — и руки обгорели. Что было потом? Меня лечили, лечили. Я стал видеть. Увидел себя. И пожалел, что вижу... Писем не писал. Хотел, чтобы думали — убит. Потом помню осенний вечер, стою у афишного столба, горблюсь, руки в карманах шинели, форма еще была на мне. И зычный голос над ухом: «Как стоите, лейтенант?» Оборачиваюсь: полковник, старый, густобровый, с усами. Поднял я голову, а он застонал, отвернулся, опять посмотрел и заплакал. И рукой махнул. Ушел... Ну, думаю, танкист, началась твоя послевоенная жизнь. Что-то в ней будет? Ну... Пошли, поздно...

Медленно, молча сошли мы с Каменного моста...

Одна из шведских газет писала о нем и талантливых его партнерах — Юрии Никулине и Анатолии Векшине:

«В чем тайна их обаяния? Они работают в новом, нетрадиционном стиле. И это особенно волнует. Наша публика в восторге. Смех не смолкает ни на минуту...»

Его называли клоуном мирового класса, «шутом атомного века».

Я читал это и почему-то мысленно видел тихие парки Швеции с вековыми мирно стареющими деревьями, туманные тысячелетние города со старинными-старинными плитами, мокрыми поутру. На окраинах этих городов стоят старые красивые дома, увитые зе-

ленью. Последние сто пятьдесят лет мужчины не уходили из них на войну.

О судьбе моего героя первый раз я услышал от учителя музыки Гарновского. Если помните, я записал его нечаянный рассказ в подольском Доме пионеров и сейчас хочу дать небольшой отрывок этой живой записи.

«Была у нас в городе одна женщина, она никогда не улыбалась. Работала быстро, что-то делала на конвейере, а лицо мертвое, каменное... Работала она на одном заводе с Мишиной женой. Он узнал о ней однажды, и, наверное, запала ему в душу мысль об этом каменном, мертвом лице. И он говорит жене: «Хочу, чтобы она рассмеялась». Жена отвечает: «Это несбыточно и, наверное, даже нехорошо. Она все потеряла во время войны, ей будет не смешно, а больно».— «Но это же боль рождения»,— отвечает он. Боль рождения. Она нужна человеку.

А жили они тогда бедно, двое детей. Он только что окончил студию Карандаша. Но он купил самые дорогие билеты, по девятнадцати рублей. Жена уломала ее, ту, с каменным лицом, и она поехала. Может быть, любопытства ради — мужа подруги посмотреть... Сидят они, играет веселая музыка, гимнасты летают под куполом, а ей нипочем — уставилась в черную пустую арену. Потом вышел Миша. Был в особенном ударе. Она смотрела удивленно, потом растроганно. Он работал, как никогда. И вот она улыбнулась... И вот она рассмеялась!.. Я, понимаете, вижу, вижу это лицо. Нет, вижу — не то слово. Я слышу это разбуженное лицо, как слышат музыку. Ну, Скрябин, Чайковский, валторны и виолончели, траур, отчаяние. И вот начинает флейта. И скрипки, скрипки... Все это рассказала мне его жена. Жена... Это тоже целая история. Трогатель-

ная, если хотите... Они познакомились в детстве, в доме, где на всем лежала цементная пыль. Оба выступали у нас в концертах. Враждовали по-детски. А потом в войну...»

Недавно я напомнил Михаилу Ивановичу Шуйдину о женщине с разбуженным лицом.

— А! — ответил он.— В тот вечер Буше сказал нам спасибо.

Александр Борисович Буше — старейший инспектор манежа. Он видел Дурова, Лазаренко, Карандаша. Редко-редко говорил он «спасибо» артистам, покидавшим под аплодисменты арену. И тот, кому посчастливилось услышать его «спасибо», ценил это, как высшую похвалу. В тот вечер ее первый раз удостоился М. И. Шуйдин.

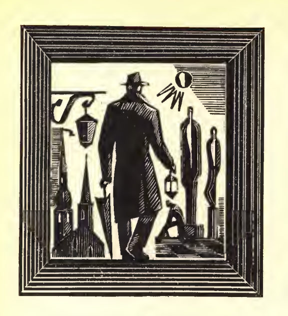
Можно было бы написать: в тот вечер родился артист. Я думаю иначе: восторжествовало мужество Человека. Но и это не та формула. Наверное, можно найти иную, менее торжественную и более точную. Ну хотя бы честное отношение к жизни. Сердце за сердце.

Еще можно это назвать круговой порукой добра: Гарновский — Асланов — Шуйдин — женщина, которая все потеряла...

Люблю беседовать с Шуйдиным о «философии смеха», если можно назвать беседой три минуты молчания и одну разговора.

— Смех,— говорит он,— это освобождение. Но не забвение, а память. И обещание...

Вчера я опять был в цирке, видел его. Я думал. И смеялся... А следы ожогов — они сейчас почти не различимы под гримом.



Поэзия неизменного долга

Внутри у меня целое богатство, а я не могу им поделиться!

Г. Х. Андерсен

Если на улице 25 Октября в Москве, не доходя чуть до ГУМа, повернуть в большой и тесный от нагромождения низких построек, похожий на трюм океанского корабля, сумрачный двор, то на одном из бесчисленных поворотов его лабиринта, повинующегося хаосу

больших купеческих амбаров, можно увидеть на стене углем написанное слово «Цаплин» и полустертую стрелу, указывающую, куда надо идти.

Несколько лет назад я вошел первый раз в этот сложный запущенный двор, увидел нелепые аршинные буквы углем и стрелу, по высоким ступеням сошел в подвал и, переступив его порог, остановился ошеломленный в самом первоначальном, ныне уже забытом смысле слова. Я понимал, к кому я иду, и мысленно живописал, даже подробно, что я увижу, но и это не ослабило удара. Трудно подобрать точный образ, который бы раскрыл суть того, что меня ошеломило. Пожалуй, это было похоже на часть полуразрушенного собора: из-за сумеречного освещения и дивных, темно-телесного дерева, человеческих фигур — женщин, мужчин, детей — они возвышались над хаосом камня, в котором постепенно все явственнее различались какие-то мифические чудища, рыбы и птицы необыкновенных очертаний, разнообразие человеческих голов.

В этом сгущенно-фантастическом мире я потянулся к тому, что было мне наиболее понятно, к обыкновенному, в пятнах чернил, письменному столу, и увидел книги: «Диалоги» Платона, «Десять дней, которые потрясли мир» Джона Рида.

— Вот,— Цаплин обвел рукой подвал и улыбнулся,— моя жизнь.

Я ощутил чувство вины перед этим человеком, несравнимое, конечно, с тем, которое испытываю сейчас, но все же достаточно явственное. Растерянно рассматривая диковинных рыб и птиц, я пообещал, наверное чересчур поспешно, что напишу о нем статью, в которой пойдет речь о необходимости большой помощи и в первую очередь о персональной выставке.

— Вот! — загорелся он.— Вот! В самое сердце попали. Показать, показать!

В тот уже далекий день Цаплин выглядел отлично. Его жизнелюбие, опьяненность работой, физическая сила, темперамент воспринимались настолько чувственно ярко, что я, помню, не подумал ни разу о том, что передо мной старик. В нем ощущались изящество молодости, та свобода и легкость, которые каждый жест и поворот головы делают естественными, красивыми. По набитой многоликим деревом и камнем мастерской он ходил с веселым достоинством мастера.

Из этого первого быстрого и беглого разговора запомнилось немногое: «Могу работать в любом материале, но дерево — моя слабость, оно духовнее камня, может быть, потому, что ближе к человеку: сначала космос камень создал, а дерево уже после, на пути к нам с вами...»

«Нет странностей только в мертвом, все, что живо,— странно, потому что в основе жизни — свобода. Не верите? Поезжайте в зоопарк... Когда вырезаешь или лепишь животных, понимаешь, чувствуешь то, что ни словом сказать, ни пером описать...»

«Современный человек духовнее и сложнее, чем многие из нас его видят. Его соприкосновение с космосом шире. Разве это не обогащает? Близко время, когда мы поймем, что такое жизнь».

Говорилось это перед двумя незадолго до этого законченными фигурами из дерева: «В космос» и «Из космоса».

«Вам они кажутся трагическими? Ну что ж! Дело же не только в том, что аппаратура в небе работает нормально. Человек, уходящий в космический холод, трагически красив. Если хотите, как Гамлет. Это ведь тоже: быть или не быть... нашему бессмертию!»

«Нет, я никогда не видел такой рыбы. Это игра фантазии. Хотелось в маленьком камне показать начало начал, одну из возможностей жизни, ее щедрость...»

«Работаю без выходных. И сейчас и раньше. Я в большом долгу перед моим народом. Лучше нам беседовать поэтому вечерами, тогда можно и посидеть».

Первоначальное, ошеломляющее впечатление разрушенного собора меркло, отдалялось, и я не чувствовал уже горестного несоответствия между низким сводом и человеческими, торжественными фигурами, к которым так пошли бы пыльные столбы солнца или легкие, как сновидения, лунные пятна, воздух, воздух и высота. Я любовался талантливым жизнелюбивым человеком, его одержимостью любимым делом, его веселым гостеприимством. И это впечатление было наиболее ярким.

Когда через час я вышел в похожий на трюм океанского корабля, заполненный до отказа бочками, стружками и разнообразной тарой двор-лабиринт и мой товарищ сообщил, что Цаплину исполнилось недавно 79 (семьдесять девять!) лет, я отнесся к этому с непонятным мне сейчас легкомыслием, как к подробности малозначительной.

...Я стал бывать у Цаплина вечерами: рылся в его архиве, слушал беседы с посетителями; а когда в мастерской не было посторонних и хозяин ложился отдохнуть на диванчике за занавеской, рассматривал, не торопясь, еще и еще раз его работу, открывая каждый раз что-то новое для себя: рыбу, птицу, дикую кошку или странных очертаний, непонятно чем берущий за сердце кусок дерева, камня. Мне все казалось, что я еще не вошел, как надо, в этот мир, не понял все в этой судьбе и написать успею.

Успокаивающе действовала и одна особенность самого Цаплина: в отличие от многих старых людей он любил говорить о настоящем и будущем, а не о том, что уже было, хотя воспоминания над человеком его судьбы могли бы иметь власть тираническую: в конце 20-х

и начале 30-х годов он объехал Европу, его работы выставлялись в залах Лондона, Парижа, Мадрида, на острове Майорки, восторженно и много писала о нем английская, французская, испанская печать.

Однажды, читая старенький номер парижской газеты, рассказывавшей о «гениальном мужике с Волги», который во время мировой войны, будучи рядовым солдатом, увидел на кладбище в Турции памятник, поразивший его красотой, и решил в тот же час научиться ваять, потом, после революции, учился и за несколько лет добился успехов настолько грандиозных, что Луначарский послал его с выставкой в Европу,— читая рассеянно это наивное, хотя несомненно искреннее, повествование, я слушал все сосредоточеннее разговор Цаплина с какими-то молодыми людьми, видимо студентами университета.

Они стояли перед большим куском гранита на деревянной подставке. Поразительным в этом камне было то, что он как бы чудом освободился от силы земного тяготения. Казалось, вышиби из-под него подставку — и он, обломок косной, работающей на сжатие материи, поплывет, как тончайший лист, в воздухе. На языке физики это называется, кажется, антигравитацией; на языке искусства темным и светлым, милым, как детство, словом — волшебство. Все дело, как я понимал (если можно понять волшебство), было в очертании одной из вертикальных сторон камня, похожей на вогнутость набирающей полноту луны.

— Нет, нет,— радостно посмеивался Цаплин,— это не полуфабрикат, а совершенно готовая вещь; я называю ее условно: форма. Этими формами я хочу показать, что вокруг нас — в камне, дереве, ну и, конечно, в живых существах — скрыта в изобилии еще не узнанная красота.— Он голосом и слабой улыбкой отметил важность последних слов.— Вот я ее выявил резцом, а надо,

чтобы человек научился и сам освобождать ее в воображении, тогда и себя мы лучше поймем.

Рискну добавить, что в этих «формах», которые были последним увлечением Дмитрия Филипповича (в молодости — фантастические рыбы и птицы; на закате жизни — куски первоначальной косной материи; он как бы шел в глубь космоса, исследуя до самых истоков волокна, которые ведут к человеку),— в «формах» этих он особенно любил открывать музыкальность камня. Живые освобожденные очертания не только видны, но слышны — и эта сложность подробностей мира радует и обогащает.

— ...А может быть,— начал фантазировать один из студентов,— на планетах, где цивилизация более высокая, чем наша, действительно камни летают и даже дома, города. Гравитация побеждена...

— Да, да...— заторопился Цаплин.— Формы для меня — отдых после большой работы, услада сердца, хобби. Пойдем дальше...

Пойти дальше означало повернуть голову.

Посмотрим и мы теперь на большую работу. Я не искусствовед, поэтому с неизбежной для дилетанта эмоциональностью расскажу лишь о лично моем восприятии и переживании (труд Цаплина заслуживает, бесспорно, серьезного и толкового художественно-критического разбора, который и не по силам автору и, видимо, не нужен в этом чисто этическом повествовании).

Дмитрий Филиппович рожден революцией как личность и как художник. Понять его в отрыве от революции, от ее мощного умонастроения, от пафоса ее деяний невозможно. Волжский крестьянин, потом солдат, он нес в себе Россию, которая в семнадцатом году отреклась от старого мира, навечно с великим усердием потрясла его основы. В начале 20-х годов в Саратове — там он посещал классы одного из многих открывшихся после ре-

волюции художественных училищ — Цаплин из дерева вырезает большие фигуры, символизирующие новую, в муках рождающую будущее Россию.

Первая особенность этих фигур — мужчин, женщин, детей — собирательность, отсутствие чисто индивидуальных черт, как у богов, изваянных из античного мрамора. И — духовность.

Чудо духовности, выраженное осязаемо, телесно, в дереве. Это не духовность одного мужчины или одной женщины, избранного характера, а духовность самой революции, поднявшаяся, как живой сок по живому стволу (что особенно ощутимо в фактуре дерева), которую и не нужно индивидуализировать.

Сосредоточенно-серьезные лица, сосредоточенно-величавые жесты: человек размышляет, он ушел на минуту в себя, чтобы шагнуть потом в жизнь и очеловечить ее. Это герои «Двенадцати» Блока после того, как утихла метель и ударила в сердце новизна мира...

Почти сорок лет отделяют эти фигуры от двух недавних — «В космос» и «Из космоса», развивающих излюбленную Цаплиным тему торжества человека над судьбой,— и та же в них духовность революции, лишь более зрелая и осознанная, которая не что иное, как наша человеческая сущность, освобожденная от чуждых ей, уродующих ее стихийных сил.

Маленький портрет Гагарина висел не случайно в его мастерской. Успехи Родины в освоении космоса были для Цаплина источником непрерывного творческого волнения, патриотической гордости, новых больших замыслов. В его любви к Родине жила революционная романтика.

Перед работами Цаплина думаешь о том, что революция не только сохраняет в человеке «вечное»: ощущение ценности и разнообразия жизни, порыв к неизведанному, страстный поиск истины, но дарует этому

«вечному» чудесный рост, сообщает ему высшие формы. (Книги, которые я заметил в первое мое посещение: «Диалоги» Платона и «Десять дней, которые потрясли мир», не случайно, лежали на цаплинском столе.)

Ощущение ценности и разнообразия жизни в цаплинском творчестве достигло степени откровения в самую сущность бытия. Мне хотелось бы рассказать подробно о кошках, птицах и рыбах, которые он высекал из камней острова Майорки, но боюсь, что описания тут бессильны — это надо увидеть. А увидев, становишься добрее, чувствуя великолепие и беззащитность чуда жизни. В архиве Цаплина мне попалась в одной из старых испанских газет информация о том, что муниципалитет Майорки (было это, кажется, в году 1930-м) рассмотрел вопрос о покупке для местного музея ряда работ русского скульптора Цаплина, «особенно его несравненных фантастических животных», и выделил необходимые ассигнования.

— И много ваших работ в музее Майорки? — отложил я газету.

— Ни одной! — ответил он резко. И рассердился: — Это не мои работы! Вот тут,— раскинул беспомощно-гневно руки— нет ничего моего. Это — ваше! Хорош бы я был, вернувшись на Родину лишь с тем, с чем и уехал...

Да, он вернулся не беднее, а богаче, и обширный подвал, полученный им по возвращении в бывшем торговом подворье (по тем, в начале 30-х годов, в мало строящейся Москве временам — великая удача и счастье!), был уже тогда уставлен тесно, с максимальным использованием драгоценной площади.

А он работал в нем еще больше тридцати лет, и хорошо работал, весело (обедал, ужинал, даже ночевал в мастерской часто, хотя и была у него неподалеку квартира):

И лишь однажды овладело им что-то похожее на отчаяние: когда завелись в деревянных фигурах разрушительные жучки — они изнутри поедали фактуру. Но Цаплин понимал, что надо не отчаиваться, а действовать; он стал быстро и химиком и хирургом, составил хитроумный губительный для жучков раствор, пилкой вырезал пораженные участки дерева (делал, как шутил потом, первые в мире операции на сердце) и лечил — вылечил.

Весной я уехал в горы Армении и там, как мне кажется, понял особенно явственно Цаплина как скульптора. Я жил в окружении цаплинских «форм», но труд освобождения этих живых, непредвиденно чудесных очертаний выполнила не рука человека — он был бы не по плечу и фантастическому великану,— а сам космос: ветер, вода, тысячелетия. Порой этот труд, не довольствуясь «формой» выявлял образ: человеческое лицо, собор, город. Камень жил, повествовал, старился. Он был безбрежно разнообразен, щедро — налево и направо — раздаривал беспрерывную радость узнавания, и это обезоруживало и волновало, как в любви. Лица, фигуры, фантастические существа были неожиданны и естественны, как в цаплинской мастерской.

Тициан Табидзе писал: «Не я пишу стихи. Они, как повесть, пишут меня, и жизни ход сопровождает их».

Там, в горах Армении, я понял, что Цаплин, немного перефразировав эти строки, мог бы сказать о себе: «Не я леплю...» И в этом его суть как художника: он лишь сообщал форму тому, что хотело родиться.

Однажды там же в горах я увидел сон: белый веселый город, дети, солнце, легкие, невесомые, как паруса, дома с раскрашенными окнами, музыка на набережной моря или озера, смех. Город, обласканный с головы до пят,— чувствуешь себя, как на палубе корабля, который вот-вот с чудным всплеском разрыхлит воду...

Это был один из тех эйфорических снов, которые видишь на большой высоте, с сердцем, обмирающим от игл разреженного воздуха. И я бы, конечно, тут же о нем забыл, если бы не одно обстоятельство: город был украшен камнем и деревом Цаплина. Я видел деревянные фигуры в низких, залитых солнцем залах за толстым и чистым стеклом; каменные изваяния — на перекрестках улиц; странные «формы» выглядывали из зелени садов. Наутро я подумал, что красоты, освобожденной руками Цаплина за полвека работы, действительно хватило на то, чтобы украсить целый город. И это наивное открытие ошеломило меня еще больше, чем самое первое посещение его мастерской.

Людей можно разделить на две части: первая чувствует себя кредиторами человечества, вторая — его постоянными должниками. Кредиторы несчастны: сознание, что все — дети, родители, товарищи, народ — что-то тебе должны, отравляет жизнь, разрушает личность. Должники испытывают иную, высокую, завидную муку: ощущение неоплатного долга перед жизнью, современностью и человечеством. Это ощущение, видимо, рождается из чувства благодарности за то, что было, есть и будет в мире, за то, что существует на Земле и одаряет тебя несравненной радостью: со-трудничества, со-переживания, со-страдания, со-участия в празднике жизни. «Я в долгу перед бродвейской лампионией, перед вами, багдадские небеса, перед Красной Армией, перед вишнями Японии...» Меня неизменно потрясает это чувство вины Маяковского перед вишнями Японии, эта трогательно возвышенная подробность этики революции, ощущающей планету как личное чудо.

В лучшей части человечества вечных должников — Цаплин, убежден, занимает одно из самых почетных мест. Особенно усилилось у него это сознание неоплаченного долга в юбилейном, 1967 году. Ему казалось,

что он третьестепенными, случайными работами отмечает полувековой юбилей революции, заключающий в себе и маленький личный юбилей — пятьдесят лет его труда. Революция, о которой он, не боясь патетики, говорил теми высокими словами, что могли бы показаться несколько книжными, если бы искренность, одушевляющая их, не убеждала в том, что этими же словами он и думает, революция, которой он был обязан всем, как человек и художник, требовала от него сейчас большого труда. И он решился. На Мытищинском камнеобрабатывающем заводе добыл глыбы гранита, чтобы изваять десять огромных человеческих фигур, символизирующих величие революции и сегодняшнюю духовную красоту Родины. Для этой работы требовались колоссальные силы, в том числе и физические. А было Дмитрию Филипповичу уже за восемьдесят. Он ее начал...

О Цаплине, как о редкостном таланте, писали наши высшие авторитеты в изобразительном искусстве (Грабарь — до войны и Коненков — после войны). Нет, он не был одинок. Мастерская его почти никогда не пустовала. Я любил наблюдать, как он общается с людьми. Он шутил, рассказывал забавные вещи о рыбах и птицах. И не было человека, который бы не забывал о его почтенном возрасте.

Цаплин в высшей степени был одарен желанием — дать.

И он дарил тем, кто шел к нему, высшую радость — радость искусства; и, даря, страдал от сознания, что мог бы дать гораздо больше.

Величие коммунистического общества — общества, которое мы строим,— и состоит в том, что оно создаст условия, при которых желание — дать — осуществится в неслыханной полноте, когда никто и ничто не сможет отклонить дарующую руку.

Он умер, не дождавшись моей статьи...

Многие из нас помнят еще с детства мудрое поучение Льва Николаевича Толстого: «Спросили у мудреца, какое время в жизни самое важное, какой человек самый важный и какое дело самое важное».

И мудрец, как известно, ответил: «Время самое важное — одно настоящее, потому что в нем одном человек властен над собой.

Человек самый важный тот, с кем в эту минуту имеешь дело, потому что никто не может знать, будет ли он еще иметь дело с каким-либо другим человеком.

Дело же самое важное то, чтобы быть в любви с этим человеком...» Разумеется, мудрец Толстого имел в виду деятельную любовь.

Мы утрачиваем часто в суете ощущение бесконечной ценности, духовной красоты и душевного разнообразия людей,— тех, с кем сталкивает нас действительность ежедневно, ежечасно. Занятые чем-то, мы забываем, что нет в мире сил, способных вернуть нам бесценные часы с дорогим человеком, когда он уходит из жизни, часы, которые мы посвятили, увы, не ему, а вороху мелочей. Мы забываем даже, что этот человек нам дорог,— его единственность, которая не повторится никогда...

Ощущение духовного величия человека возвращается к нам вечерами, когда в час отдыха мы раскрываем тома Стендаля или Л. Толстого, и с ними же это ощущение часто уходит надолго — на полку.

Я много писал о радости *узнавания* человека, когда постепенно спадает будничное, однообразное, похожее и обозначается все отчетливее единственное, уникальное. Чтобы не пожалеть для этого узнавания душевных сил (потому что оно не только радость, но и труд), надо

понять умом и сердцем то, о чем говорил мне однажды Цаплин: «Современный человек несравненно, трагически красив» (так был красив и сам Дмитрий Филиппович).

Эту красоту с особенной остротой чувствовал Алексей Максимович Горький. Его огорчало, что в век сложных явлений и сложных вещей утрачивается ощущение самой значительной в мире сложности — человека. И он писал об этом не раз — патетически и горько. С отрочества до последних дней Горький утверждал, не уставал повторять: именно человек — самая таинственная реальность мира. В ней раскрывается наиболее полно величие жизни, ее чудо. И мы сами понимаем это перед портретами Рембрандта, но забываем, увы, иногда, оказываясь лицом к лицу с современным, обычным, будничным человеком. А Алексей Максимович учил: не забывать.

Любой из нас несет в себе неисчерпаемое богатство, целый мир, и хочет поделиться с народом и человечеством. Любой из нас похож на милый добрый андерсеновский фонарь, мечтающий о том, чтобы его засветили,— тогда он покажет дорогим людям нечто великолепное.

Вот и надо, чувствуя то сокровенное, что заключено в этом фонаре, засветить его: пониманием, мудрой любовью, любовной сосредоточенностью.

Само собой разумеется, человек большого таланта и целеустремленной души, подобный Цаплину, отдаст людям то, что хочет отдать — бескорыстно, с детски безрассудной щедростью. Отдаст не только ничего не ожидая от них, но и постоянно испытывая перед ними чувство долга.

Но видя вершины, не надо забывать и о том, что большинство — это обыкновенные хорошие люди, они любят солнце и теплый ветер, при которых им живется

и работается радостнее. Они несут в себе великое богатство и хотят одарить им современников. Они хотят быть бескорыстными. Это, в сущности, одно из самых естественных человеческих желаний.

Возвращаясь из летнего путешествия, мы на один день остановились в Таллине и, обежав старый город, уже к вечеру узнали об открытии нового музея в реставрированных развалинах Доминиканского монастыря.

Я помнил хорошо эти руины. Их суровая живописность бередила воображение. Серый, тяжкий, изрытый большими оспинами камень держал в тайне дух XIII столетия. Раньше, бывая в Таллине, я не раз о толщу этих стен расшибал лоб в надежде увидеть хоть что-то, но не мог отыскать в камне и тончайшей, с лезвие ножа, расщелинки.

Реставрация этой старейшей в Таллине постройки — дело живое и творческое, рассказывали мне эстонские архитекторы и историки. «Вообразите урок по истории XIII—XV веков в стенах, построенных в ту же эпоху! У вас есть дети? Дочь? Вот и подумайте о той полноте живого чувства истории... Работа же для этого нужна минимальная — не строить, а открывать».

И вот мы с дочерью не пошли, а побежали. До закрытия музея оставались минуты, но мы показали пожилым суровым женщинам, охранявшим эту тяжкую, сумрачно вечереющую таинственность, билеты на утренний самолет, и они разрешили войти. Камень, нависая, сердито теснил нас дальше, дальше: в молельни, трапезные, переходы, опочивальни... Мы, казалось, раздвигали его локтями, тоскуя по небу, по окнам, и когда вышли к двум, окрашенным медью августовского вечера, ощутили что-то похожее на радость освобождения. Мы могли бы, конечно, насладиться ими с расстояния в не-

сколько шагов и быстро повернуть обратно, помня, что нас ждут суровые женщины, последний таллинский вечер и утренний самолет. Тогда я не познакомился бы с мастером Энке и мое понимание современного человека было бы, наверное, беднее, чем сейчас.

Первой у окна застыла дочь:

— Посмотри! Как у Андерсена...

И я увидел дворик. В нем росли большие деревья с домиками для белок на уютных ветвях, там и сям висели фонари, а кормушки для птиц на тонких, изящно выкованных цепочках покачивались от легкого ветра.

Особенно понравились нам фонари: чувствовалась в них большая подлинность. Если бы не они, дворик мог показаться декоративным. Они же, из меди, с толстыми стеклами, безупречно точной формы, сообщали ему особую, что ли, достоверность. Из сумрачности монастыря мы вышли к тоже таинственному, но доброму, живому миру нашего детства. Он был перед нами, у самых окон и, как оказалось потом, фантастически — если иметь в виду физическое расстояние — далек. Лишь обогнув тяжкое нагромождение камня, потом поплутав по улицам старого города, мы нашли его, и в вечерних сумерках, с уже зажженными фонарями, он показался совершенно андерсеновским.

Осмотревшись, мы увидели по левую руку ступени в подвал — какие-то первобытные камни и заменяющий перила канат; конечно, не удержались, сошли и, переступив порог, очутились в живописном подземелье. По стенам шли стеллажи, и, тускло отсвечивая медью, стояли на них фонари. Потом увидели мы стол в углу, заваленный чертежами, множество различных таинственных инструментов и человека. Он, должно быть, стоял в тени, наблюдая за нами, а теперь вот подошел. Худощавый, с откинутой назад густоволосой седой головой, он улыбался доброжелательно и безмятежно. В его

улыбке и лице не было и тени удивления, точно он нас ожидал и теперь рад, что мы, как и обещали, появились. Но не мог же он нас ожидать, и поэтому: «Мы увидели из окон монастырской опочивальни...» — начал было я. Но он остановил меня, подняв руку, раскрыв ладонь, тоже отсвечивающую медью:

— Да, да, они, монахи, тут вина держали и съестное,— он показал головой на камни пола,— целый год мы с женой ворочали, пока...— Он обвел ладонью стены и, отступив, пододвинул два табурета: — Садитесь.

Я сел, а дочь, осмелев, подошла к одному из фонарей, по-детски, пальцем, удостоверилась в его реальности, потом жадно, в мгновение ока осмотрев стеллажи, нашла самый маленький и самый изящный: фонарь-мальчик, фонарь-паж — уставилась в его лицо завороженно и любовно.

— Да, да,— согласился человек, достал фонарь и, тщательно обтерев его маслянистой ветошью, опустил в подставленные ладони, потом повторил убежденно: — Да,— и объяснил, обращаясь ко мне:

— Она должна была выбрать именно его.

А дочь с чудом из яркой меди и туманных стекол стояла молча, не веря, должно быть, что это явь.

Я поблагодарил несколько растерянно, потом заговорил о мастерстве. Мне показалось, что эта тема должна быть особенно понятна хозяину диковинной мастерской. Но я ошибся.

Она рассердила его.

— Мастерство? Я в старой Эстонии слу́жил в антикварном магазине у одного жулика, и он меня на руках носил. Я работал под старину, делал... антикварные вещи. Украшения, мебель. Что хотите! Даже под XIV век. Не отличали...

Он посмотрел на руки и, точно виня их за что-то, укоризненно покачал головой, потом повторил с усмешкой: — Мастерство.

Был он на редкость артистичен. Сейчас, когда я невзначай задел его за живое, это с явственной силой играло в лице, жестах, интонациях голоса. И я не удержался от вопроса, безусловно в какой-то мере бестактного, когда тебе неизвестно даже имя собеседника.

— В вашей семье были артисты, музыканты? Вы сами?..

— Да,— ответил он быстро.— Но я ее разбил. О каменный пол на мелкие куски.— Опять посмотрел на руки с отчуждением, сурово. И пояснил: — Они фальшивили.— Помолчав, добавил: — И когда я это понял, то разбил ее. А семья была рабочая. Ни артистов, ни поэтов. Железнодорожная семья. Депо.

— Вы разбили скрипку?

Он чуть беспомощно съежился, усмехнулся:

— Что-то осталось? Вот и жена говорит: иногда держишь голову и руки так, будто возьмешь и заиграешь Венявского или Крейслера.— Он рассмеялся, понемногу успокаиваясь.

Тут мы оба посмотрели на мою дочь. Она стояла, обняв обеими руками фонарь, и ждала весьма нетерпеливо, когда можно будет идти.

— Завтра утром мы улетаем,— сообщила она.

Он поклонился ей почтительно, как большой, и посмотрел на меня, чуть сощурясь, точно ожидая чего-то. Я улыбнулся, должно быть, беспомощно и жалко, ощущая все болезненнее томительность этой минуты. Потом, кивнув дочери — иди,— выдавил из себя:

— Дорогой, весьма дорогой подарок, разрешите...— и рука моя досказала то, чего не повернулся выразить язык.

Он удивленно наморщил лоб.

— Хотите заплатить? Тогда почему вы назвали это подарком? Как зовут вашу дочь? Когда от меня уходит фонарь,— объяснил мягко,— я помню его уже, ну,

в образе человека. Он имеет его имя. Он уже,— рассмеялся,— фонарь-девочка, фонарь-мальчик, фонарь-мужчина...

— Ты теперь фонарь-девочка,— сообщил я ей, когда мы вышли на улицу, похожую на русло высохшей горной реки, некогда бушевавшей в ущелье. Мы поднялись к дому Аэрофлота, отдали билеты на утренний самолет и остались в Таллине, чтобы завтра и послезавтра ходить к мастеру Энке.

— Почему я делаю фонари? Думаете: мода? Сейчас ведь многие любят это... под старину! («И если бы он работал за деньги!..» — реплика жены.) Были у меня летом альпинисты. На Эльбрусе отель построили, наверное, хороший с комфортом, а вот нет там чего-то. Ну, чтобы не для тела, а для сердца. Не понимали, чего же нет. Потом решили: фонаря. («И откуда они узнают о существовании Энке? Из Сибири, и из Москвы, и с Черного моря...» — снова реплика.) Вот сидели мы с ними в подвале, и захотелось мне узнать, почему именно моего фонаря им недостает в горном отеле? Один из них («...тридцати лет, уже доктор наук, физик, объехал полмира...») говорит: горы — вечность. И ваш фонарь... («...тоже вечность, понимаете?»). Подожди, фонаря тогда ведь не было. Для гор нужен особый, я им месяца через три его пошлю. («А вы не видели напротив ратуши, у аптеки, его великий фонарь?») Великий? Большой. Но жена напомнила о нем вовремя. Вот фонарь у аптеки — один характер. В нем... («Весь дух старого Таллина».) И потом это — аптека. («Ей пятьсот лет».) Она должна вас обнадеживать. Да? А на Эльбрусе, когда вы поднялись высоко, он должен вам помочь понять лучше себя самого и с вами вместе... («...размышлять о вечности!»). У меня жена русская,

она меня научила хорошо говорить, но, конечно, мне до нее...

Под тем — у старой аптеки, напротив ратуши — фонарем я размышлял поздно вечером о мастерстве, точнее, о духовности истинного мастерства. Дул сильный ветер и «Старый Томас» на ратуше — пузатый воин с пикой в руке — без устали поворачивался, оглядывая окрестности. А фонарь ни разу не шелохнулся; ветер обтекал его, точно сильные волны лобастый, устойчивый камень; в нем не было и тени декоративности. Укрась им театральные подмостки — он, наверное, нарушил бы иллюзию действия. Он сам был, несмотря на полную неподвижность, действием. Он мог чудодейственно перенести на пятьсот лет назад, в город бюргеров и монахов. А потом возвратить в сегодня, оставив в сердце высокую радость от этого расширяющего жизнь перемещения в веках. Он сам был действием, потому что вызывал ощущение абсолютной подлинности. Да, именно он висел у этой аптеки несколько сот лет назад. И он же — это чувство тоже рождалось — сделан сегодня. Если бы он мог говорить, мы услышали бы: «Мне пятьсот лет, я родился несколько часов назад».

Вот наедине с этим фонарем я и размышлял поздно вечером о духовности мастерства.

На выставках старинного оружия — а в Эрмитаже они великолепны — не испытываешь восхищения, несмотря на фантастическое мастерство оружейников. Стоя у широких, парадных витрин, где похожие на многофигурные изваяния пистолеты изнеженно возлежат на желтом, тусклом бархате, понимаешь: убийство нельзя эстетически оправдать или возвеличить. Мастерство оружейников бездуховно.

Бездуховность не обязательно, разумеется, сопряжена с рождением художественно ценных орудий убийства. Более того, тут она наименее опасна, потому что

очевидна. Пальцы, в сущности, не фальшивят. Они лишь фантазируют вокруг небытия.

Самый же опасный вид бездуховного мастерства — если фальшивят пальцы. И когда Энке в старой Эстонии днем, работая на торгаша, делал «подлинные» вещи минувших веков, а вечером играл на скрипке, он ощутил, что одна и та же рука не может и лгать, и служить истине. В конце концов разбиваешь скрипку. Его увлечение фонарями, которые он дарит молодежным кафе, отелям, домам культуры и детям,— углубление в духовное, нравственно-содержательное мастерство. (Недаром именно фонарю сообщил Андерсен высокую человеческую муку: уметь показывать разлитое вокруг великолепие мира и страдать от того, что тебя не зажгли.)

Возможно, существует и более земной мотив его особой наклонности — Энке вот уже ряд десятилетий работает на одном и том же таллинском заводе «Терас», в мастерских его, выпускающих осветительную аппаратуру — так называют лампы и люстры, которые там по чертежам архитекторов делают для кафе, университетов, аэропортов. Я поехал на этот завод после того, как жена Энке сообщила мне, что за последние двадцать лет он «ни одного, наверное, разу не был в отпуске. Поваляется дня три на пляже в Пирите и...».

— А мастерская, подвал? — удивился я.

— Вот когда мы с ним расчищали монастырские закрома, я и надеялась. Нет!.. Поваляется дня три...

Разговор об Энке со старшим мастером «Тераса» Арнольдом Ханцевичем Киином я начал вопросом относительно отпусков и повергнул тем самым собеседника в немалое беспокойство:

— Будете писать? Подумают, что мы заставляем человека целый месяц работать бесплатно.

— Видимо, он работает, потому что это доставляет ему удовольствие.

— Именно удовольствие. Вы меня извините, я думал, вы будете нас осуждать в печати за то, что человек работает во время отпуска. А он, действительно, за... да, за двадцать лет... ни разу в отпуске не был более двух-трех дней. Заводу это, конечно, на большую пользу. И мы хотели бы компенсировать. И, пожалуй, нашли бы ту — не для печати! — или иную возможность. Но он и говорить об этом не хочет. Для него это именно удовольствие...

Помещения «Тераса», разумеется, абсолютно не похожи на фантастическую мастерскую, устроенную в бывших монастырских закромах. Но вот сам Энке у большого окна, над заваленным чертежами столом, в резком белом освещении неотличим от Энке таинственного подвала на улице Мюйривахе.

— Надо,— доказывал он нескольким молодым рабочим,— удлинить стебель. Ненамного. Я с архитектором договорился. А в лепестки добавить меди и укрупнить...— Он нарисовал рукой в воздухе какое-то фантастическое растение, потом вытащил из вороха синий листок: — Я тут набросал. Лепестки надо разредить. Будет естественнее, да? Вот для мельницы-кафе нужна была густота, там полусвет, уют, а тут — университет, фойе...

«Терас» выполняет заказы для кафе-мельниц, отелей, театров, универмагов, вокзалов... Киин назвал эту работу уникальной, но такой, то есть исключительной, неповторимой, ее делают, по-моему, не отсутствие серийности, а художественное воображение Энке.

Вазари в известных «Жизнеописаниях», рассказывая об одном живописце итальянского Возрождения, замечает, что тот с величайшей изобретательностью затруднял себе работу, стараясь, где только можно, измыслить то, до чего раньше никто не дерзнул додуматься. В поисках «осложнений» в работе этот живописец

был неистощим, чем, видимо, и отличается настоящий художник, в том числе рабочий-художник, от ремесленника.

Рабочие-художники строили готические соборы и в них вырезали из дерева кафедры, величественные, как мироздание, они настилали в залах паркеты, где дерево казалось янтарем (нам разрешают сегодня ходить по ним лишь в суконных музейных тапках), и рубили — уже для себя — избы, которые в полусвете Севера по сей день земля держит на ладони, как алмазы.

Рабочий-художник — образ на редкость родной нам, отечественный, дорогой с детства по Лескову и Горькому.

В воскресное утро с билетами на вечерний самолет мы пошли на улицу Мюйривахе попрощаться с Энке и его женой и в первый раз оказались у них некстати.

Передавали по радио традиционный для Таллина воскресный концерт органной музыки. Энке в темном, выходном, несколько старомодном костюме сидел у окна — отрешенный, далекий. За окном темнила августовское утро городская, XV века, стена, тяжкой исчерна-серой фактурой напоминающая тысячелетний выступ горы. Сам дом, в котором Энке занимает небольшую комнату — она и гостиная, и спальня, и кухня,— тоже построен лет четыреста назад, до рождения этого баховского хорала. Когда органист томительно утишал на нижайших басах мощь музыки, можно было услышать, как что-то жарится за занавеской. Хозяйка, быстро устроившая нас рядом с собой на диване, уговаривала остаться обедать, а Энке сидел у стола, рядом, молчаливый, замкнутый, сидел, как в концертном торжественном зале, откинув голову, чтобы лучше видеть, положив чинно руки на подлокотники. И вот в те ми-

нуты, под орган, я с особой явственностью ощутил, что передо мной истинно рабочий человек. В его облике теперь не было изящества и артистизма, которые казались совершенно от него неотрывными. Из рукавов выходного костюма вывалились угловато подвернутые большие кисти рук с деформированными пальцами; на неподвижном, торжественно сосредоточенном лице выступило что-то старинное, упорное, медлительное... мастеровое! Не верилось, что он накануне вечером говорил мне в подвале об одном давно начатом и до сих пор не доделанном фонаре:

— Не нравится он мне...

— Разлюбили?

— Да! Могу же я разлюбить, живое у меня сердце. («Каприз,— четко заметила жена.— Хорошая вещь. Надо кончать».) Не нравится мне,— повторил он, как ребенок.

Этот медлительный и упорный мастеровой не мог разлюбить, не мог оставить что-то незавершенным, не мог позволить себе детский каприз в работе. И я почувствовал, что тайна личности и тайна судьбы сидящего передо мной человека лежит в несовпадении этих образов. Он оставался самим собой и тогда, и сейчас. Может быть, легкость, игра его лица и рук были содержательны лишь потому, что за изяществом и артистизмом таилась медлительная, упорная сила.

Музыка кончилась. Энке посмотрел в окно, улыбнулся:

— Осень! («Его время — осень и зима. Уходит в подвал и колдует до ночи».) — Тогда он рассмеялся: — Зимой хорошо. Наверху — ветер, снег... («Да, у него там уютно. Мы с гостями часто сидим, а уж в новогодние ночи...»)

— Гости и зимой не дают покоя?

— Ходят, как в музей,— добродушно ответил мне

Энке. («С той лишь разницей, что из музеев ничего не уносят».) — Ну, унесли-то один раз, а в остальные я сам дарил. А сейчас и дарить почти нечего — что ни начну, обещано кому-то. К тому же в ту зиму... («А в ту зиму он изменил фонарям — пятьдесят кормушек для белок, домики на металлических тонких цепочках...») Вот и доверь жене тайну! («Весной поехали мы с ним на рассвете в Кадриорг-парк и развесили их, действительно тайно, по деревьям, потом в вечерней газете было напечатано: кому, мол, известно, кто этот беличий покровитель? Молчит, посмеивается».) Люблю людей дурачить.

За воротами, уже на улице, мы остановились и тихо — будто не по сырым, тяжким камням, а по рассохшимся певучим половицам — пошли назад: через темное подворье к тому чуду, которое открылось тогда из окон монастыря-музея. Августовское солнце, туманясь, неярко освещало боковую, без окон, из желтого песчаника, стену соседнего дома, затканную по карниз живой желтеющей зеленью. Она, стена, фосфоресцируя, освещала уже остальное — от фонарей над головой до камней под ногами. Стекла фонарей мерцали янтарно, разнообразно. Мы попали сюда в хорошую минуту: освещение выявляло самую суть этого необыкновенного дворика, в котором и первобытный камень, казалось, улыбался, обласканный рукой человека, а утопленные в толще стены перед нами окна монастыря оттаивали нехотя, сумрачно...

Если бы доминиканским монахам, подумал я, показали полтысячи лет назад этот микрофрагмент очеловеченного космоса, они, несомненно, не стали бы ни добрее, ни целомудреннее. Но вот девочка или мальчик после урока истории (если их будут устраивать в музее), подбежав к окнам, наверное, воспримут в какую-то самую первую минуту, пока не вернется реальное ощу-

щение сегодняшней жизни, дворик Энке, как видение будущего, и с ребячьей непосредственностью ощутят, как меняется человек и мир.

Первой обернулась дочь, она радостно воскликнула, я посмотрел и увидел... подлинного, живого Ганса Христиана Андерсена! (Живописно растрепанные волосы, высокий выпуклый лоб, большой печальный рот делали Энке похожим на известный, памятный с детства портрет Андерсена, тот самый, где галстук в горошину повязан вокруг шеи с артистической небрежностью).

И опять я удивился тому, до чего же по-разному может выглядеть этот человек — в зависимости от духовного состояния, обстановки, освещения,— каждый раз оставаясь самим собой.

Он улыбнулся понимающе. Я заговорил о том, обведя рукой дворик, что, видимо, надо было немало попотеть, чтобы...

— О! — отмахнулся он, не дослушав.— Я же устраивал это не один. С ней.— Потом добавил с той детски-неожиданной, ошеломляющей откровенностью, с которой рассказал незнакомому человеку о разбитой скрипке...

— Я от первой жены ушел, потому что деньги любила.

Потом с дочерью мы уже в последний раз поднялись по улице Мюрийвахе, и фасады пятисотлетних домов рассказывали мне родословную Энке.

А в Москве, накануне Нового года, я мысленно видел, как около полуночи по первобытно тяжким камням, держась за толстый канат, нисходят в подвал-мастерскую гости. Их лица и руки, когда они переступают порог, освещает фонарь, обладающий особенностью, о которой не догадывался и сам Андерсен,— обнаруживать в людях бескорыстие.



Эпилог,
в котором „тайное" становится явным



Повествование это, задуманное как попытка исследования духовного мира нашего современника, я начал в Прологе рассказом об элементарнейшей форме бескорыстия — столяр бесплатно работает для детского сада — и кончил изображением той же, казалось бы, элементарной формы — добрый мастер из Таллина дарит фонарь моей дочери. Я решился на это «кольцо» в композиции книги в надежде, что мне удалось, показав сложные формы бескорыстия, дать читателю почувствовать нравственную красоту сегодняшнего человека, и поэтому «элементарность» последнюю он воспримет несравненно более содержательно, чем ту, самую первую.

В художественной публицистике характеры и судьбы героев — это как бы окна, через которые автор и читатель вместе с ним смотрят в мир, в эпоху... Я хотел бы, чтобы окна в этой книге были чистыми и большими — не узкими старинными бойницами, а современными, в полнеба. Получилось ли? — судить не мне. В одном я уверен, что люблю тех, о ком писал; мое понимание жизни и человека было бы намного беднее, если бы не общение с этими людьми. Они научили меня одной существенной вещи: великие философские вопросы о достижении гармонии между долгом и чувством, мыслью и действием, справедливостью и красотой, повседневностью и высоким смыслом жизни, те самые вопросы, которым посвящены целые библиотеки, могут решаться с непритязательной, неосознающей себя самое мудростью, как нечто само собой разумеющееся людьми, казалось бы, далекими от философии, ни разу, может быть, не раскрывавшими томов Платона и Канта. Образ жизни этих людей в большей степени философский — если понимать философию в первоначальном смысле как любовь к мудрости,— чем образ жизни многих именитых мыслителей. Я вижу в моих героях философов, они давали мне и, надеюсь, дадут читателю бесценные уроки в области мысли и чувства, и действия. Их жизни стоят емких томов, исследующих жизнь. Когда я писал об этих людях, то отстаивал самое для меня дорогое в человеке, в отношении к нему...

Сам образный строй художественной публицистики не позволяет писателю вести дискуссию открыто. Но я полагаю, что читатель увидел не только в Прологе, но и в последующем, посвященном духовному миру моих героев повествовании, полемику с рационализмом, ограниченно понимающим человека, суживающим «человеческий спектр» до нескольких невзрачных тонов. Конечно, за исключением Пролога, полемика эта была в основном

скрытой, я спорил не логическими аргументами, а самими образами героев, тем богатством человеческого мира, к которому они имеют, по-моему, непосредственное отношение. И вот, очертив их характеры и судьбы, я затем и пишу Эпилог, чтобы «тайное» стало явным.

Стендаль говорил: «Мыслить — это страдать». Не устареет ли эта формула завтра? Думаю, не только не устареет, но лишь тогда и станет выражением не частного случая, а мирового закона. Чем гармоничнее развит человек, тем нерасторжимее в нем сердце и ум. Недаром о людях хороших в старину говорили: умное сердце... Говорил это и Лев Толстой о Горьком. Эйнштейн, несомненно, страдал, обдумывая возможности новых великих уравнений, выражающих цельность и красоту мироздания.

Чем больше людей будет мыслить, страдая, тем лучше для человека, для жизни...

— Но что это с автором! — воскликнет, возможно, читатель.— Стоит ли в наш век могущества мысли, меняющей облик планеты, защищать... мысль!? Причем тут Стендаль с его формулой?!

Помните «Мысль» Родена? Эту женскую наклоненную к земле голову в старомодном уборе на большом, кажущемся надмирным камне? Выражение полной отчужденности и сосредоточенной печали на истончившемся и тоже будто бы надмирном лице? Похожа она, эта женщина, на добрую волшебницу, которая покидает землю, убедившись в тщетности попыток осчастливить людей. Если же говорить о восприятии более современном, то, может быть, это героиня Станислава Лема, улетающая с земли, чтобы вернуться, когда умрут даже внуки тех, кого она сейчас любит?

— Волшебница? Лем? Это все сентиментальная метафизика! — рассмеялся молодой поэт, с которым я был на выставке Родена.— Хотите узнать, почему она печальна? Она видит, как по земле расстилается ее собственная тень — рационализм!

Чтобы лучше осмыслить нравственное явление, полезно увидеть его в действии, в сюжете. Молодому сибирскому писателю Д. Константиновскому удалось в очерке «Пожар в Чимбулаке» с большой силой убедительности расшифровать рационализм именно сюжетно.

Рядом с высокогорной лыжной станцией, видимо по небрежности курильщиков, загорелся лесок: гибли деревья ценных, редких пород; несколько ребят кинулись, не раздумывая, на склон соседнего холма — гасить пламя; остальные же лыжники — студенты, молодые ученые и инженеры — наблюдали за безрассудными «эмоциональными». Натренированным умом они в течение нескольких секунд рассчитали безошибочно точно (инженерно точно!), что наличную площадь горящего леса наличными на станции силами без эффективной техники погасить невозможно. Безрассудные ребята вернулись с ожогами, ничего не добившись: лесок выгорел. Оставшиеся пожурили их за безрассудство, ибо для рационалиста не существует нравственной ценности действия, имеет ценность лишь его результативность. А результативностью могли похвалиться оставшиеся: пока лесок пылал, они снимали его на цветную пленку. Снег и огонь...

Писатель, исследуя мотивы поведения тех, кто не побежал, очертя голову, к горящим деревьям, отмечает, что ими, видимо, руководил не страх,— по его наблюдениям это неробкие люди. Они не сошли с места потому, что отчетливо осознавали (с инженерной, повторяю, обстоятельностью осознавали) бессмысленность подвига.

Не ошиблись ли они в расчетах? Можно ли было спасти лес совместными самоотверженными усилиями? Вопрос сложный, на него сейчас никто не ответит.

Я определил бы рационализм, как попытку мыслить не страдая. Я бы даже усилил формулу, назвав попытку мыслить не страдая воинствующей. Искренна ли она? По-моему, несомненно. Эту искренность делают понятной особенности времени: действительное могущество мысли, наглядно меняющей облик жизни, и невиданный никогда раньше в истории размах созидания... Рождается соблазн эффективности, жесткая логика действия, не одухотворенного, а только умудренного точным — а иногда и глубоким — отлично выверенным расчетом.

Рационалист может быть даже обаятельной (внешне) фигурой, если, разумеется, он не стоит с кинокамерой перед горящим лесом, а бессонно работает в лаборатории, увлеченный научной идеей, или в роли администратора деятельно и целеустремленно руководит людьми, решая большую конструктивно-четкую задачу.

Рационализм [1] относится к мысли, как сентиментальность к чувству, но отличить рационалиста от подлинно умного человека гораздо труднее, чем напыщенного влюбленного от шекспировского Ромео. Может быть, потому, что в мире чувств вообще любые подделки грубее, обнаженнее, чем в мире мысли?..

Критиковать рационализм — с «общечеловеческих», «общеэмоциональных» позиций — одно из самых бесплодных занятий, «сентиментальная метафизика», как назвал бы это тот молодой поэт.

---

[1] Само собой разумеется, что рационализм, о котором пишу сейчас, не имеет ничего общего с утверждающим авторитет разума философским рационализмом — явлением глубоко прогрессивным в истории европейской мысли последних столетий. Я употребляю это слово в сегодняшней резкой житейско-этической трактовке.

Рационализм надо критиковать с точки зрения... рационализма. Я понял недавно, что он выдержит без труда любую критику, кроме жестоко рационалистической! И это не парадокс. Я долго искал ахиллесову пяту рационализма, пока не открыл ее там, где никогда не ожидал открыть. Ибо оказалось ею то самое, в чем видит рационализм собственную силу и внешнее оправдание. Ахиллесова пята рационализма — фетишизация результативности, и удара в это место он не выдерживает.

Есть бегуны, побеждающие в стометровках, есть мастера марафонского бега. Стихия рационализма — «стометровка». На больших дистанциях начинают мощно действовать психологические и нравственные силы, которых рационализм не учитывает.

Я чуть было не написал: а если бы учитывал, то не был рационализмом. И вовремя усомнился: разве рационалисты не начинают уже сегодня тщательно взвешивать эти сложные силы? И несомненно, с еще большей обстоятельностью и точностью они будут завтра исследовать «человеческий фактор», то есть моменты нравственные и психологические, влияющие на результативность действия. Но меняет ли это что-то в сущности рационализма? Думаю, нет. Понять человека и понять «человеческий фактор» — разные вещи. Человек непредвиденнее «фактора». У Шекспира кто-то говорит: никогда не поймет музыки тот, у кого музыки нет в душе... Утилитаризм остается утилитаризмом: он может трезво учитывать уже существующие стимулы, но не способен создавать новых, более вдохновляющих.

Я не говорю, что эффективность рационализма — иллюзия. Это совершенно реальная эффективность. Но для меня очевидно, что рационализм, не понимая сложности современного человека, современных человеческих отношений, выбирает далеко не самые оптимальные варианты.

Критику рационализма, конечно, нельзя суживать, ограничивать ударом по результативности,— ведь речь идет о возможном обеднении человеческого мира, человеческой действительности; это бесконечно широкая и бесконечно важная тема. Хотя, если понимать результативность широко, как рождение, кристаллизацию и экономических, и духовных, и нравственных ценностей, то можно и «сузить» разговор!..

В этике революционеров, которой в немалой степени посвящено настоящее повествование, богатство человеческого мира занимает господствующее место. Когда Маркс пишет жене: «Я вновь ощущаю себя человеком в полном смысле слова, ибо испытываю огромную страсть», когда Джордано Бруно, славя творческий энтузиазм, пишет об огне, зажженном солнцем ума, когда Дзержинский героически утверждает в тюрьме: «Единственное счастье человека — это уметь любить...», когда В. И. Ленин говорит об Энгельсе: «Этот суровый борец и строгий мыслитель имел глубоко любящую душу», когда Кампанелла, повествуя о занятиях обитателей Города Солнца, подчеркивает: «Все это делается радостно»,— они завещают потомкам высокие истины и стремление к непреходящим ценностям.

Не было революционера, который мыслил бы не страдая. И это естественно: чтобы жертвовать собой во имя человечества, надо уместить в сердце его боль, чтобы верить в великое будущее мира, надо испытывать радость борьбы.

Можно ли понять с точки зрения рационализма несравненную сложность небывалого XX века. Я называю наше столетие небывалым не потому, что мы летаем на

реактивных самолетах или, не выходя из комнаты, можем уютно наблюдать через телеокно за беспокойной жизнью нашей планеты. И даже не потому я называю его небывалым, что наши современники увидели первыми, как горят на — уже не земном — космическом небе одновременно и Солнце и созвездия.

Научно-техническая революция XX века — непрекращающееся чудо, воспринимаемое нами как уже само собой разумеющаяся, в достаточной степени будничная реальность. Но были бы меньшим чудом до сих пор не ставшие будничной реальностью «Сикстинская мадонна», «Лунная соната», «Война и мир»? Человеческий гений неисчерпаем и вечно нов.

Существует, конечно, и более глубокая черта, резко отличающая наше столетие: уходит в небытие старая буржуазная цивилизация, рождается новая, коммунистическая. Но ведь и раньше цивилизации умирали и рождались вместе с распадом и развитием социально-общественных формаций.

Он небывалый, наш двадцатый, потому, что уходит не старая цивилизация, а старый мир, основанный на частной собственности, тысячелетия потрясаемый борьбой классов; рождается бесклассовое общество, которому суждено создать новое человечество.

В XX веке начинается подлинно человеческая история. Пятьдесят лет — время, отмечаемое на часах истории если не секундной, то минутной стрелкой. Наши десятилетия по емкости, очевидно, заслуживают часовой: двадцатые... тридцатые... сороковые... пятидесятые... шестидесятые...

Но полвека — это начало, это начало начал...

Беспримерная социальная и нравственная сложность нашего времени требует не только от публициста, но и от любого из наших читателей умения видеть диалектику событий, понимать «логику вещей», различать

за пеной на поверхности глубинные течения. Не переносить в позавчера сегодняшнюю мудрость и не жить сегодня только болью, рожденной вчера... Чувствуя с непритупляющейся остротой время, в которое живешь, осмысливать его все полнее в сложном ряду минувших времен. И думать, думать непрестанно, бесстрашно о будущем, мыслить, подобно революционерам, страдая...

Выше я написал, что эти качества, которые можно охарактеризовать и двумя словами — историзм мышления,— желательны не только для публициста, но, конечно, естественнее будет, если мы все более даровито станем воспитывать их у наших читателей, а не читатели у нас.

Действенность наших выступлений я стал бы сегодня определять в зависимости и от того, дают ли они уроки исторического мышления.

Когда Маркс, блестяще доказывая в статье «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта», что, по существу, глубинно, в истории ничто не повторяется, восклицал: «Ты хорошо роешь, старый крот!» — он испытывал и боль, сострадая современному ему миру, и радость, видя рождение сил, которые его обновят, веря в новое счастливое человечество.

И тут мысленно слышу ироническую «реплику из зала»:

— А сами вы дали урок исторического мышления, критикуя рационализм? Не понимаете, чем он обусловлен? Не видите в рационализме «рационального зерна»?

Не хуже моих возможных оппонентов понимаю, что рационализм в какой-то степени нес и несет в себе определенного рода отрицание того, что отрицания действительно достойно: от псевдоромантики и лжепатетики до игнорирования экономических законов и ханжеского

отношения к материальным стимулам труда. В этом отрицании — известная негативная польза рационализма. И я согласен видеть в ней элемент развития...

Еще не дописав последней строки, я тут же понял, что сам себя опровергаю: ведь если бы для рационализма негативная польза была элементом развития, то и не был бы он рационализмом. Беда в том, что на этом рационализм останавливается: утверждать ему нечего.

Нет ничего опаснее, разрушительнее скепсиса, когда он получает не совещательный, а решающий голос. Неверие — не говоря уже о сомнении — может быть полезно в процессе поисков, в процессе выбора, но сам выбор делает плодотворным и точным только вера в человека, в гуманизм, в революцию...

Логика развития — диалектика — в том, что отрицание переходит в отрицание отрицания.

Рационализм отрицает псевдоромантику — подлинная зрелая романтика отрицает рационализм.

И опять слышу мысленно «реплику из зала»:

— Конкретнее! Что имеете в виду под «подлинной зрелой романтикой»?

В первую очередь, борьбу за истину: во всех областях жизни, общественных и человеческих отношений.

Чувствую себя виноватым перед читателями за то, что многовато в моей книге цитат. И все же не могу удержаться от того, чтобы не выписать еще одну — из неизвестных страниц Э. Казакевича: «Человек — не владеющий марксизмом-ленинизмом, уподобляется марсианину, попавшему на московскую площадь. Вокруг быстро идут люди, а зачем движение — неизвестно». Дата этой дневниковой записи: 7.V.1952 г.

Как и в эпоху Маркса, «хорошо роет старый крот» истории, не обманывая исторического оптимизма марксистов.

СОДЕРЖАНИЕ

Богат Евгений Михайлович
БЕСКОРЫСТИЕ

Заведующая редакцией *А. Т. Шаповалова*
Редактор *Ю. Н. Чернышева*

Младший редактор *Н. М. Жилина*
Художественный редактор *С. И. Сергеев*
Технический редактор *А. И. Данилина*

Сдано в набор 31 мая 1972 г. Подписано в печать 20 сентября 1972 г. Формат 70×108¹/₃₂. Бумага типографская № 2. Условн. печ. л. 8,4. Учетно-изд. л. 8,14. Тираж 100 тыс. экз. А 00185. Заказ № 1521. Цена 25 коп.

Политиздат, Москва, А-47, Миусская пл., 7.
Ордена Ленина типография «Красный пролетарий». Москва, Краснопролетарская, 16.

